

A stylized, high-contrast illustration in shades of red, black, and white. The background is a deep red. In the upper half, a large, dark, swirling shape, possibly representing a storm or a massive wave, dominates the scene. Below this, a ship is depicted on the water, with a flag flying from its mast. The overall style is graphic and dramatic, typical of mid-20th-century Soviet propaganda art.

ОЛЕГ СЕЛЯНКИН

**КОГДА
ТРУБА
ЗОВЕТ**

ОЛЕГ СЕЛЯНКИН

**КОГДА
ТРУБА
ЗОВЕТ**

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1970

Предлагаемая читателю книга «Когда труба зовет» состоит из новых рассказов писателя Олега Константиновича Селянкина.

Имя автора — ветерана Великой Отечественной войны — хорошо знакомо читателям по книгам «Школа победителей», «Есть так держать!», «Ваня Коммунист», «Маяк победы» и некоторым другим, выпущенным Пермским книжным издательством.

Новый сборник «Когда труба зовет» — это взволнованный и правдивый рассказ о том, что видел и пережил автор за годы войны. Олег Селянкин не только констатирует факты героизма советских людей, но и делает попытку философски осмыслить их незабываемый подвиг с позиций сегодняшнего дня.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

(Вместо предисловия)



Весна тысяча девять-
сот сорок первого года,
родное Заполярье. С по-
люса еще задувают ледя-
нящие ветры, раскачивая
тяжелые волны, еще сле-
пят глаза и мешают ды-
шать снежные заряды, но

все равно уже пришла весна! Она и в неумолчном гомо-
не чаек и гагар, слетающихся на старые гнездовья, и в
веселом бесшабашном говоре ручейков, падающих
с почти отвесных береговых скал в черные, будто густые
волны, которые через равные промежутки времени не-
изменно разбиваются, ударившись о прибрежные валу-
ны серого гранита.

Все будто кричит, ликуя: «Весна пришла! Жизнь так
прекрасна!»

А морскому охотнику, что несет дозорную службу,
не до весны. Черные волны лениво бегут ему навстречу,
и он то взбирается на их гребни, то, словно с горки, ска-
тывается во впадину между ними. Качка однообразная,
надоедливая.

Однако не качка, не холодные брызги, обжигающие
лицо, а чувство, что сейчас ты отвечаешь за мирный сон
своего народа, заставляет моряков-пограничников за-
быть о весне.

Вот и стоит напряженно рулевой Борис Лукин у штур-
вала. Так напряженно стоит, что кажется не спускает

глаз со светящейся картушки компаса. Однако он своевременно заметил и береговые скалы, набросившие на плечи белую пелерину снега, а теперь и огоньки рыбацких судов. Они, эти огни, приближаются быстро, с каждой минутой становятся все отчетливее и отчетливее — огни зеленые, просто зеленоватые, ярко-красные, лишь розовые и даже вовсе не поймешь какого цвета.

Лукин недавно окончил школу рулевых, это его первая самостоятельная вахта у штурвала да еще в дозоре на морской границе, и его худощавое лицо так сосредоточено, что кажется будто даже бакенбарды, которые он отпустил, подражая боцману, нацелены только на компас.

Зато командир катера лейтенант Галкин словно дремлет, спрятав подбородок в меховой воротник. Но если присмотреться, обязательно увидишь, что глаза командира поблескивают из-под козырька фуражки, внимательно ощупывают море, рыбацкие суда. Внешнее спокойствие лейтенанта тоже не случайно: он уже два года охраняет морскую границу, у него выработалось спокойствие, появилась вера в собственные силы.

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант? — спрашивает Лукин, хотя прекрасно знает, что во время вахты разговаривать запрещается; он не может больше молчать, ему необходимо поговорить, чтобы хоть немножко успокоиться.

Лейтенант прекрасно понимает его состояние, сочувствует и поэтому отвечает:

— Обращайтесь.

— Почему у норвежцев отличительные огни такие тусклые? До военной службы я на траулере ходил, так мы, бывало, как включим свои — северное сияние заиграло, не иначе!

— Керосиновые фонари у норвежцев.

— Керосиновые? — удивляется Лукин.— Электрических лампочек нет в Норвегии, что ли?

— Откуда у простого рыбака деньги на движок? А хозяину... Ему лишь бы параграф правил плавания соблюсти, вернее не его, а видимость одну. Есть отличительные огни? Есть. Видно их? Плохо, говорите, видно? В бинокль разглядывайте... Так рассуждает хозяин. Ему лично от тусклых огней одна прибыль: расход меньше. Для него это главное.

Лейтенант подносит к глазам ночной бинокль, всматривается в рыбацью флотилию и говорит:

— Вот и сейчас некоторые рыбаки держат огни, а другие — погасили. Скуп хозяин на лишнюю копейку.

Большая волна ударила в скулу катера, тряхнула его и звонкими брызгами, замерзающими еще в воздухе, рассыпалась по палубе от носа катера до рубки. Прошло еще мгновение и палуба заблестела, заискрилась сотнями до яркости колючих звездочек.

— Лево руля! — скомандовал лейтенант.

— Есть лево руля! — ответил рулевой; он понял, что разговору конец.

Катер повалился на борт и тотчас изогнулась пенящая дорожка за его кормой, дугой легла на черные волны.

— Так держать!

— Есть так держать!

Теперь впереди только непробиваемая глазом чернота моря и неба, слившихся воедино: повернув, катер пошел по другой стороне квадрата, отведенного ему для патрулирования. Лукин украдкой вздохнул: что ни говорите, а веселее, когда видишь хотя бы тусклые огни. А сейчас — в тревожный мрак, в неизвестность несется катер.

И вдруг вахтенный сигнальщик доложил:

— За кормой огни военного корабля!.. Эсминца!

Лейтенант мгновенно выскочил из рубки. В открытую дверь ворвался ветер и ожег лицо Лукина. Только молодого рулевого этим не напугаешь: хотя на военном флоте он и новичок, но с морем дружен с пеленок, в поморском поселке родился и вырос.

Рывком распахнув дверь, лейтенант прыгнул в рубку и приказал строго, взволнованно:

— Поворот на обратный курс!

Снова катер валится на борт, снова за его кормой изгибается пенистая дорожка, и снова впереди огни — зеленые, чуть зеленоватые, ярко-красные и лишь розовые. А из непроглядной черни, с запада, быстро приближаются огни военного корабля. Вызывающей яркости огни. Лукину они почему-то напоминают горящие злобой волчьи глаза.

Призывно, набатно звучит колокол громкого боя. И, едва взорвались его первые звуки, о палубу ударился обледеневший люк кубрика. Матросы, на бегу надевая шинели и полушубки, выскочили наверх. Выскочили на палубу — сорвали заледеневшие чехлы с пушек и пулеметов и еще через несколько секунд — доклад:

— Катер к бою изготовлен!

Сейчас катер и его команда, если вражеский корабль хотя бы носом своим пересечет незримую морскую границу, вступят в бой. В неравный бой вступят: морской охотник по сравнению с эсминцем, что лодочка против парохода. И все же он, морской охотник, полным ходом идет навстречу врагу: для того и построен и вооружен, чтобы вступить в бой, когда потребуется. Похоже, такая минута настала.

Среди рыбацких огней движение: некоторые рыбаки, видимо, уже знакомые с повадками «гостей», торопятся отойти в сторону.

Эсминец все ближе, ближе...

Его огни почти в центре рыбацкой флотилии...

— Не видит он, что ли, рыбаков?— вырвалось у Лукина.

Лейтенант ничего не ответил. Его руки замерли на рукоятках машинного телеграфа, сам он подался вперед; словно собирался подтолкнуть катер, если тот вдруг замедлит бег.

Огни одного из рыбацких судов качнулись и погасли. Вместо них на морского охотника теперь со звериной, лютой злостью таращились огни фашистского эсминца.

— Разрезал! Судно, подлец, разрезал! — ужаснулся Лукин.

Лейтенант перевел ручки машинного телеграфа на самый полный и катер рванулся, вздыбив нос.

Еще несколько секунд стремительного сближения и, заглушая рев мотора, рывкнут пушки, обжигая волны пламенем взрывов.

Еще только несколько секунд...

И тут эсминец почти лег бортом на гребни волн, изменил курс, отошел от границы запретной зоны. Отошел и включил прожектор. Его холодный луч бесстрастно скользнул по черной поверхности моря, мимоходом цапнул несколько рыбацких судов и, равнодушный, остановился там, где еще две минуты назад исчезли огни. До малейшей складочки высветил воду, и поэтому Лукин прекрасно видел беспомощно задранный к небу нос судна. На его палубе были два человека. Они хватались руками за снасти, изо всех сил пытались удержаться на покато́й палубе. Рыбаки, похоже, не могли понять, что их судно идет ко дну.

Прожектор погас так же внезапно, как и вспыхнул. Огни эсминца быстро растаяли, погасли во мраке ночи. Непроглядной стала ночь.

— Так и знал! — зло сказал лейтенант, стукнув кулаком по стенке рубки.— Включить прожектор! Приготовиться к спасению утопающих!

Морской охотник идет предельно быстро, но хочется, чтобы он летел: разве продержится человек несколько минут в ледяной воде?

Прожектор ощупывает покачивающиеся на волнах обломки.

— Вижу двух человек! — радостно кричит сигнальщик.

Теперь видит и Лукин. Уцепившись за обломок мачты, рыбаки смотрят на несущийся к ним катер. В глазах их страх: спаситель или новый убийца торопится?

И вдруг один из рыбаков скрылся под водой. Силы покинули его, или он не захотел испытывать судьбу?..

Обломки мачты уже рядом. Моторы застопорены. Несколько матросов легло на палубу и протягивают руки к рыбаку. Однако повезло боцману: он ухватил норвежца за ворот куртки.

Волны медленно покачивают обломок мачты, перекачиваются через него...

Пока спасенного рыбака оттирали суконками и спиртом, подошли рыбацьи суда. Многие подошли. Они доверчиво грудились вокруг морского охотника, на их палубах стояли рыбаки. Суровые и огромные в своих неуклюжих одеждах, они молча толпились у бортов. Некоторые злобно осматривали темный горизонт.

Одно судно пришвартовалось к борту морского охотника. На него и передали спасенного рыбака. Уже согретый и оживший, он торопливо сказал что-то, схватил и притянул к себе руку лейтенанта, хотел поцеловать ее. Лейтенант обнял его за плечи и похлопал по спине, подрагивающей от плача.

И тут рыбаки заговорили все разом. Одни из них

грозили кулаками черному западу, другие — благодарили моряков, а кто-то даже поставил на палубу морского охотника большую корзину рыбы. Лейтенант попытался было вернуть ее, но рыбаки так посмотрели на него, что он снова поставил ее на палубу, и, махнув рукой, ушел в рубку.

Снова бежит катер своим курсом. За его кормой тускло светятся отличительные огни рыбацкой флотилии. Сосредоточенно смотрит Лукин на картушку компаса, а перед его глазами все еще рыбацкое суденышко, разваленное надвое сильнейшим ударом, и два человека, тщательно цепляющихся за его палубу.

Лейтенант Галкин снова на своем месте; он курит. Курит так, чтобы не слепить рулевого, чтобы огоньком папиросы не обозначить врагу место дозора. А что враг близко — лейтенант знает, чувствует, что тот неотступно следит за катером. Самый главный враг, враг номер один — немецкий фашизм. И пусть с ним заключен договор о ненападении, пусть будет подписано еще несколько подобных соглашений — войны не миновать. Неизвестно, когда она вспыхнет, но что будет обязательно — нет сомнения у лейтенанта. Война, кровавейшая из всех прошлых, беспощаднейшая из беспощадных. Да и чего иного ждать от фашистов, которые ради своего удовольствия запросто топят людей?

Во всем этом был уверен лейтенант Галкин, и поэтому чернота ночи ему казалась необычайно плотной, поэтому даже от каждой волны, набегающей на катер, он ожидал чего-то особого, но обязательно тревожного. И курил он торопливо, жадно, словно боялся, что это главное что-то нагрянет раньше, чем он думает.

ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ



Бессмертие выпадает не каждому. И у счастливых различна дорога к нему. Один идет всю жизнь, карабкаясь по кручам к заветной цели; у другого весь путь занимает несколько дней, ча-

сов, минут. Или километров и даже метров. Но какой бы длины он ни был, этот путь в бессмертие, он всегда велик, всегда должен служить примером для грядущих поколений.

И еще — при рождении никто не знает, выпадет ли ему счастье ступить на этот путь. Человек сам и порой — неожиданно сворачивает на него. Чтобы обязательно дойти.

Вот и матрос Федор Носков не слышал полета этой мины. Он просто вдруг увидел перед собой столб огня. Яркий, грохочущий. Увидел и услышал его — рухнул в бездну, где не было ни света, ни звуков. Его самого, Федора Носкова, не было.

Когда очнулся, над ним ярко горели звезды. Их было очень много и каждая — словно электрическая лампочка.

Еще он сразу заметил, что между звездами снуют трассирующие пули и снаряды. К Одессе торопятся. А когда оторвал глаза от неба, увидел вспышки разрывов мин и снарядов. Они ярились впереди, с боков, сзади. Только здесь, где лежал Федор Носков, не было их.

И тишина вокруг...

Может, она, тишина, потому обволакивает его, что в голове молоточки постукивают, в ушах моторчики шумят?

Федор хотел встать, но только шевельнулся — острая боль ударила по ногам. Так свирепо ударила, что тошнота комом вошла в горло, а неподвижные звезды вдруг сорвались со своих мест, суматошно закружились по черной чаше неба.

Матрос припал грудью к земле, немного полежал неподвижно, потом, пересилив себя и боль, сел. Да, большие осколки мины впились в обе ноги. Из ран крови вытекло так много, что штанины хоть выжимай.

Значит, от потери крови кружится голова и тошнота душит...

Самое разумное для раненого — отползти в сторону от опасного места и там смирнехонько лежать до прихода санитаров; беречь силы надо, если ты много крови потерял.

Здесь, где лежал раненый Федор Носков, взрывы снарядов и мин не кромсали землю. Здесь было невероятно спокойно для фронта. И еще — пьяняще пахло полынью.

Но Федор Носков нес приказ командира полка морской пехоты, нес в окруженный батальон, который по-прежнему твердо стоял на своем рубеже. Только новый приказ, приказ командира полка мог заставить их отойти, спасти от полного уничтожения. Этот приказ был у Чосквова.

О приказе командира полка вспомнил Носков, глядя на черное небо, утыканное яркими электрическими лампочками. Вспомнил — перевернулся на живот и сразу же заскрежетал зубами от боли, штормовой волной прока-

тившейся по всему его телу. На несколько секунд замер. Несколько секунд лежал будто мертвый.

Нет, в тот момент он не думал, что становится на путь в бессмертие. Нет, он не думал тогда о том, что собирается совершить подвиг. Для него одно было главным: приказ у него, и этим все сказано.

Мысль о приказе, который нужно доставить как можно скорее, была настолько властной, что, собравшись с силами, он пополз. Пополз не к окопам полка, до которых было меньше километра, а к батальону. Сколько до него — Носков не знал, да и не хотел думать об этом. Он твердо решил: пусть до батальона больше километра, пусть даже два — он должен быть там.

Ошибка? Неверное решение? Не лучше ли было ползти к окопам полка, чтобы кто-то здоровый понес приказ в батальон?

Да, так было бы вернее. Если рассуждать, сидя в светлой и теплой комнате. А Федор Носков лежал в голой степи, лежал с перебитыми ногами. Он, плача от боли, пополз к батальону.

Однако, может быть, минуты через две Носков понял, что ему спешить нельзя: кровь сочилась из ран, он быстро слабел. Понял это и сразу же припал к земле, жадно вдыхая в себя горьковатый запах полыни.

Отдохнув немного, сел. Разорвал на полосы форменку и перевязал раны.

Теперь снова вперед, снова туда, где рвутся снаряды и мины, где в смертельном бою батальон товарищей...

Говорят, когда тебе трудно, нужно думать о чем-то постороннем, отвлекающем. А вот Федор Носков ни о чем таком думать не мог. У него вместе с остатками крови, казалось, пульсировало одно слово, единственное приказание самому себе: доползти, доползти.

Шесть раз останавливался Носков передохнуть — это

он хорошо помнил. Потом сознание замутилось. Полз ли он или лежал — неизвестно, не помнил он этого. Зато почти непрерывно видел то злые вспышки разрывов, то холодные звезды, которые лопались под грохочущей лавиной фашистских танков, несущихся на батальон. Тогда он пытался кричать:

— Товарищи, отходите! Приказ командира у меня! Не было у него сил кричать. Он лишь всхлипывал и снова полз вперед. Только вперед...

Очнулся матрос Носков от ночной прохлады. Открыл глаза. Над ним висело все то же небо. Только звезды горели меньшим накалом. Значит, скоро утро.

А до батальона, как угодно измеряй, еще почти километр...

Конечно, Носков знал, что если он даже и останется лежать здесь, в степи, если даже его здесь подберут санитары, то никто не обвинит в трусости, никто не упрекнет в том, что он не выполнил приказ. Какой спрос с еле живого?

Зато ни на секунду не забывал Носков и о том, что днем батальону не отойти, уничтожит его враг. И еще — у Федора Носкова была большая настоящая совесть. Совесть человека и солдата. Она и заставила опять перевернуться на живот.

Страшно сделать первое движение... Боль наверняка каленой иглой воткнется в самое сердце...

Матрос Носков, намереваясь перехитрить боль, для начала решил только дотянуться до кустика полыни, который торчал, казалось, почти перед глазами. Протянул к нему руку и... не достал. Пришлось все тело чуть подать вперед....

Вот и сжат в кулаке этот кустик травы, огрубевший от палящего солнца. А впереди — виден другой. Много таких кустиков полыни на пути Федора Носкова. И ка-

жется ему, что они сами надвигаются на него. Только хватайся за них скрюченными и кровоточащими пальцами.

— Товарищ старший лейтенант, ползет кто-то,— доложил дозорный и взял на себя затвор автомата.

Старший лейтенант подошел, стал вглядываться в ночь.

— Ничего не вижу.

— Вон тот бугорок.

Бугорок, на который показал дозорный,— метрах в пяти от окопчика. Подумалось, что если это затаившийся враг, то он запросто может швырнуть гранату. Прямо в гнездо дозорного. Старший лейтенант еще не принял решения, как тот, кого он принял за бугорок, застонал, пробормотал что-то.

— Помочь надо,— сказал дозорный, посмотрев на командира. И тот взял его автомат, навел на неизвестного.

Дозорный выпрыгнул из окопа. Вон он уже склонился над человеком... Бережно взял его на руки... Возвращается...

Луч карманного фонарика осветил лицо неизвестного. Оно было иссиня-белым. А бескровные губы все шевелились, силясь сказать что-то.

— Федька Носков! — вырвалось у дозорного и он тут же пояснил: — Вместе на торпедных катерах служили.

Командиру стало ясно, что не случайно оказался здесь этот матрос, и он приказал:

— Обыщите!

В это время Носков открыл глаза. Сначала в них не было ничего, кроме безмерной усталости, потом мельк-

нуло подобие мысли, она переросла в тихую радость. Он прошептал:

— Отходите... К полку...

Все ждали, не скажет ли он еще что-нибудь, но Федор молчал. Матросы хотели влить ему в рот вина, но врач строго сказал:

— Ему больше ничего не нужно.

С минуту все молча стояли, обнажив головы. Много смертей повидали матросы батальона. Но эта была особая: без жаркой рукопашной схватки, без грома выстрелов. Свидетелями исключительной смерти они стали. И не золотили лучи солнца лицо Федора Носкова, не пытались приподнять его веки (не взошло еще солнце), не рассыпали в небе трели жаворонки (грохот войны выжил их из этой степи). Зато, когда батальон начал отход, рядом со знаменем четыре матроса осторожно несли тело Федора Носкова.

С тех пор минули годы. В космос ушли многие советские космические корабли, вот-вот они проложат первую трассу к новой планете. Но и сегодня вдоль пирса выстраиваются моряки. Чуть слышно плещет усталая за день волна. Теплый ветерок играет лентами бескозырок, гладит открытые лица моряков-черноморцев, которые построились на вечернюю поверку. Построились парни, родившиеся после Великой Отечественной войны. Но и сейчас, как и двадцать пять лет назад, старшина прежде всего призывно зовет:

— Матрос Федор Носков!

Шелестят ленточки бескозырок. Плещется море.

— Матрос Федор Носков пал смертью храбрых в боях за нашу социалистическую Родину! — громко и четко отвечает правофланговый.

На века так будет.

НАШ КОМАНДИР



Нет, видно, войну никогда не забудешь: вот уже более двадцати лет минуло с тех пор, а я, как вспомню, будто снова с боевыми товарищами в строю, снова силен и молод...

Начну по порядку.

Война застала меня в Пинской военной флотилии, комендором на канонерской лодке «Верный». Комендор — артиллерист, значит.

Как началась война — неожиданно и лихо — вступили в бои. Дрались с фашистами под Пинском, Лунином и во многих других местах. Вроде бы и неплохо дрались, себя не жалели, но отступали.

Обидно и больно, конечно, отступить, да ничего не поделаешь: тогда враг был сильнее нас. И вот, отступали мы с боями, отступали, и вдруг командир нашей канонерской лодки собирает нас и говорит:

— Обстановка, товарищи, сложилась так: фашисты захватили верховья Днепра, да и ниже нашей канлодки тоже форсировали его. Наш корабль, так сказать, оказался во вражеском окружении.

Мы стоим на палубе, слушаем своего командира. Голос у него был, надо прямо сказать, тогда спокойный, ни грамма волнения в нем не чувствовалось. А если командир спокоен, то и нам легче, хотя о страшных вещах говорится. Почему? Нет психоза — вера в свои силы больше.

— Мы, товарищи, честно дрались с врагами,— продолжает командир.— И, хотя отступали, никогда не бегали! Чести советского солдата не опозорили!.. А сейчас у нас два выхода: либо уничтожить корабль, чтобы врагу не достался, высадиться на берег и пешком идти к своим, либо кораблем прорываться через заслоны врага, выйти на свободный Днепр и опять громить фашистов! Только предупреждаю: кораблем прорываться сложнее; и курс его известен, и сам он не то, что человек, за кустиком не схоронится... Мы, командиры, решили прорываться кораблем. Так, как я уже говорил, и труднее, и опаснее, но зато какой урон фашистам будет!.. Если есть среди команды такой человек, который за свои нервы не ручается, пусть сейчас сходит на берег. Для решительного боя нам нужны только самые смелые люди.

Замолчал командир. И мы стоим, молчим. А сами по сторонам глазами зыркаем: объявится гадина — в ключья разорвем.

— Так и знал, что у нас нервных нет,— спокойно говорит командир и тут же командует: — Корабль к бою изготовить!

Изготовить корабль к бою — для нас дело привычное. Быстренько все сделали и доложили, что к бою готовы. Стою я у своей пушки и, как сейчас помню, поглаживаю снаряды, будто ласкаю, и молчу. Также, молча, стоят на своих местах и товарищи. Чувствую, думка у всех одна: так дать фашистам, чтобы век нас, советских солдат, помнили!

А канонерка быстро идет вниз по реке. Ночь — темнущая. На небо я не смотрел, были там звезды или нет, сказать не могу. Но что берегов реки мы не видели, это уж точно. Разве, изредка надвинется на корабль что-то черное, большое и опять исчезнет.

Только очень опытный командир мог вести корабль в такую ночь.

И вдруг вспыхнул на берегу стог сена. За ним — второй, третий... Много стогов враз запылало. Сразу Днепр словно кровью залило.

Нас, как на ладошке, видно, но зато и враг у нас перед глазами. Выбрал я для своей пушки танк, выстрелил по нему... Свидетелей здесь нет, да врать не буду: промазал тем снарядом.

А танк, значит, как развернется, как даст!.. В самый борт корабля попал... И тут такая на меня злость напала, что свет божий не мил: «Ты мой корабль увечить?!»

В щепки разнес я тот танк со второго снаряда...

Сколько времени мы дрались — не знаю. Но вот чувствую, что дрогнула наша канонерская лодка, пошла ко дну...

Конечно, тут бы о своем спасении думать надо, а я не могу! Бить врага, бить проклятущего — вот и все мои мысли.

Потом все же глянул по сторонам и вижу, что дружки мои тоже с боевых постов не уходят, тоже ведут огонь по фашистам. А их, фашистов, на берегу тьматмущая высыпала. Тут тебе и танки, и пушки, и автоматчики. Бей, не жалей!

Хитро потонула наша канонерская лодка: сама на дне реки стоит, даже палуба под водой, а пушки стрелять могут!

Конечно, по всем инструкциям наш корабль считался погибшим. Вроде утопили его фашисты.

— Огонь по врагу! — кричит командир. — Или устал, Нестеров?

Нестеров — это я.

Покосился я на командира, обидеться хотел. А уви-

дел его — обида пропала. Стоит наш командир на крыле мостика, стоит во весь рост ничем не прикрытый, а трассирующие пули ткут вокруг него свою паутину. И около головы, и у самой груди так и мелькают, так и мелькают.

Но стоит наш командир на своем боевом посту!

С затонувшего корабля мы бой вели до тех пор, пока все снаряды в фашистов не выпустили. Сколько фашистов уложили — не знаю. На похоронах не был. Но зато известно, что богатые они были. Много деревянных крестов выросло на другой день на берегу Днепра.

— Команде покинуть корабль! — приказывает командир и, знаете, не спеша спускается с мостика. Как после учений. Будто не бьют по нам взбесившиеся фашисты из пушек, пулеметов и автоматов.

Взорвали машины, пушки и покинули корабль. Последним ушел с корабля наш командир. Сзади нас и через Днепр плыл. Словно прикрывал своих подчиненных.

Переплыли мы Днепр, пересидели день в лесу и тронулись на восток, чтобы со своими частями соединиться и опять начать лущить фашистов.

Прямо скажу, тяжелым был тот первый день во вражеском тылу. Мокрые, полураздетые, сидим под деревьями и друг на друга смотреть боимся. Уж больно мало нас осталось. Может, виноваты мы перед теми, которые погибли?

Сидим, пригорюнившись. Помалкиваем. Даже раненые, а их у нас восемь было, не стонут, пить не просят.

Тут выходит из-за деревьев наш командир. Фуражка на нем, китель на все пуговицы застегнут. Ну, точь-в-точь как на корабле! Только брюки без складок, да в лице кровинки нет.

Вышел из-за деревьев, остановился посреди поляны,

удивленно оглядывается, смотрит на нас так, будто впервые видит. А потом и спрашивает:

— Извините за беспокойство, товарищи. Вы не знаете, где размещается команда канонерской лодки «Верный»?

Не поняли мы сначала своего командира, сидим и смотрим на него. Потом лейтенант, который у нас на корабле артиллерией командовал, вскочил да как крикнет:

— Встать! Смирно!

Крикнет — к слову пришлось. Не крикнул, а так, знаете, внушительно сказал.

Мы, как и положено, руки — вниз, подбородок — к небу. И, честно вам скажу, никогда до этого с таким удовольствием я не выполнял команд. Стою по стойке «смирно» и чувствую, что слезы глаза застилают. Почему, спрашивается? Силу в себе почувствовал! Кто мы такие были до тех пор, пока лейтенант не командовал? Так, кустари-одиночки, прячущиеся от фашистов. Кем стали после этой команды? Экипажем канонерской лодки «Верный». Маленьким, но экипажем, у которого даже командир есть!

А наш командир говорит:

— На канонерской лодке «Верный» трусов не было. Если они примазались к нам сейчас, если они попытаются опозорить честные имена товарищей, смертью храбрых павших в бою,— сам расстреляю!.. Лейтенант Прутков, вас назначаю своим помощником. Составьте боевое расписание и до каждого матроса доведите его место в бою. С этого часа начинаем жить по корабельному распорядку. Разойдись!

Лейтенант, разумеется, списочек составил, и узнали мы, что осталось нас тридцать два человека. Тридцать два злых матроса — сила!

И пошла наша жизнь по корабельному распорядку, точно и без задоринки.

Много за те дни и ночи пережито нами было. Так общая беда сроднила всех, как братья дружны стали.

Много и боевых столкновений выпало на нашу долю. Вернее, не выпало, а мы сами часто в бой с врагами вступали. Били маленькие фашистские части, которые вблизи леса на ночь останавливались. Снимали связных, перехватывали мародеров, портили железнодорожное полотно. Один раз даже состав с танками под откос пустили. Рассказывать обо всем, так на год хватит...

И в каждом бою командир руководил нами, задания давал, проверял их выполнение. Даже приказы издавались, в которых достойным — слава, а кое-кому и влетало по первое число. Словом, шла настоящая служба.

Только к концу третьей недели сдали у некоторых нервы. Сначала у раненых, конечно. Да это и понятно: еды нет, а мы последние крохи им отдаем; и раньше почти голыми были, а теперь и вовсе в босяков превратились. Ночи холодные, ну мы все с себя поснимали и опять на тех же раненых надели.

Судите сами, легко ли человеку, когда он знает, что для него товарищи себя самого последнего лишили?

Лишь наш командир ходил в полной форме. Будто вчера сошел с корабля...

Вот в такой обстановке раненые и начали разговор. Дескать, оставьте нас в деревне. Спрячут нас советские люди, не выдадут врагу, вам легче будет, и нам мучений меньше.

Короче говоря, если смотреть с одной стороны, разговоры велись правильные. И задумались мы. Может, так и надо поступить? Может, действительно, оставить дружков у надежных людей, а самим добавить оборотов и полным ходом на соединение с Красной Армией?

Не знаю как, но дошли те разговоры до командира. Как в тот раз, неожиданно вышел он из-за деревьев, не стал слушать рапорт дневального и говорит нам таким грустным голосом:

— Садитесь, товарищи, побеседуем.

И, как человек очень уставший, присел на землю. Кто-то хотел ему свой бушлат подложить, а он отстранил его.

Сел наш командир на землю и молчит, нас разглядывает. Молчим и мы, глаз с него не сводим.

— Я, товарищи, пришел к вам вот по какому делу,— начинает он свою речь. Должен сказать, что голос у него был вежливый и без единой властной командирской нотки.— Прежде чем расстанемся, хочу вам кое-какие советы дать.

Тут мы переглянулись. Куда собрался наш командир? Неужели задумал бросить своих подчиненных?

А командир, словно нарочно, опять замолчал. Этим и воспользовался Генка Кулешев. Был у нас такой рулевой. Отчаянный и справедливый. За это мы его в комсорги выбрали.

— Разрешите вопрос задать?

— Да вы сидите, Кулешев,— говорит ему командир.

— Никак нет, не могу сидеть, когда с командиром разговариваю! — режет Кулешев.

— А разве я ваш командир?

Кулешев не нашелся, что сказать.

— Разве я командир? Разжаловали вы меня в рядовые. Своим поведением разжаловали. Какой же я командир, могу ли я с честью носить это высокое звание, если мои подчиненные, как последние мерзавцы, задумали бросить своих товарищей?

Так начал наш командир, а потом и пошел нас распекать! Хотите верьте, хотите нет, до слез довел...

Оказывается, все мы шкурники. И так это обосновал, что деться некуда. Судите сами.

Раненые, когда просили их здесь оставить, на что ссылались? Дескать, вам и так тяжело, а тут еще и мы на вашей шее. Вроде все правильно? А только у них и другая мыслишка была: оставьте нас здесь, у надежных людей, нам легче станет. А мы, здоровые, разве лучше думали? По себе сужу: тоже говорил, что раненым спокойнее, если останутся. А сам в это время о себе заботился: ежели останутся, нам всем, и мне в том числе, полегчает.

Вот как этот вопрос раскрыл перед нами командир, когда посмотрел на него с другой точки зрения.

Стыдно, здорово стыдно всем нам стало после его слов...

И зашагали мы опять к фронту. Опять фашистов били, опять командир руководил нами. Но теперь все почувствовали, что еще дружнее, сплоченнее стал наш маленький отряд.

А недельки через две вышли к своим. Были, конечно, и поцелуи, и слезы радости, и прочее. Все было...

Потом направили нас в баню.

Тут и случилось самое главное, без чего все сказанное и гроша ломанного не стоит.

Пошли мы в баню и вдруг спохватились, что командира нет. Куда он делся? Дело прошлое, и, скажем прямо, в те дни не очень-то верили тем, кто из окружения выходил. Да это и понятно: время тревожное, а среди людей и людишки встречаются.

Вот и подумали мы: «Не задержали ли нашего командира для допроса?»

Подумали, да и решили, что обязаны вместе с ним ответ держать.

Пошли искать своего командира. Но куда не сунем-ся — нигде нет, никто его не видел. Только один солдат сказал, будто к медсанбату он шел. Мы, конечно, туда.

И вовремя. Выводят нашего командира из палатки под руки. А сзади врач идет.

Увидел нас командир, улыбнулся, даже рукой нам помахал. Мы бросились к нему, да врач остановил. От него мы и узнали, что командир ранен пулей в грудь. Когда ранен? Еще во время боя канонерской лодки.

Значит, с пулей в груди он Днепр переплыл. С пулей в груди он вел нас по вражеским тылам, не давал нам совесть солдатскую терять. Из последних сил шел, а нас подбадривал.

Только теперь поняли мы, почему никогда не снимал кителя наш командир, почему при первой возможности норовил от нас за деревья спрятаться. И бледность его лица понятна стала...

А ведь если посмотришь на нашего командира, то человек не очень сильный. И во внешности нет ничего героического. Самое обыкновенное лицо, глаза серые, а над ними — выгоревшие брови. Словом, как говорят некоторые, русское лицо у него было. Тысячи людей с таким лицом ходят по улицам любого города.

Вот и весь рассказ о нашем командире. Разве лишь одно добавить следует: выписался он из госпиталя, и опять мы вместе служить стали. Но уже в Волжской военной флотилии. И звание ему новое дали — капитан третьего ранга.

На Волге, после разгрома немцев под Сталинградом, наш командир, капитан третьего ранга Лысенко, награжден орденом Ленина..

Вот какой у нас командир был.

1.



Каждую ночь небо, если оно не затянуто тучами, утыкано звездами. Яркими и потускнее, горящими ровно, как огни маяков, и мерцающими словно в ознобе. Многие звезды, как люди, имеют имена, их место абсолютно точно обозначено на

звездном глобусе, чтобы помогать мореплавателям. Не все жители земли знают звезды поименно, для большинства они лишь холодные блески, украшающие небо. Но вряд ли в Северном полушарии есть человек, который не смог бы разыскать в звездной россыпи одну, только одну необходимую ему звезду — Полярную.

У каждого человека было время, когда он смотрел на нее с восторгом или с грустью: раз он знает ее, значит, всегда безошибочно найдет правильный путь. Кроме того, Полярная звезда для юноши являлась и свидетельством того, что он уже начал познавать не только земные дела, но и Вселенную. Знаешь Полярную звезду — это многообещающая заявка, это признак того, что ты становишься настоящим взрослым человеком.

К ней, к Полярной звезде, невольно тянутся и взгляды людей, оказавшихся далеко от дома. Сгробастала тоска человека, стиснула его глотку холодными лапищами, не вмоготу ему — вот и ищет он на темном небе яркую точку, находит и смотрит на нее. Смотрит на звезду, а видит вроде бы родной дом, вроде бы слышит го-

лоса близких сердцу людей. И невольно в голову лезет: «Может, и мои сейчас смотрят на нее? Если так, то мы будто в глаза друг другу взглянули».

На Полярную звезду смотрел и Фридрих Сазонов — в недавнем прошлом красноармеец, а теперь военнопленный без имени и фамилии. Все заменил номер 5248. Он, этот номер, вбит в каждую клеточку мозга, пульсирует в крови, не давая ни на минуту забыть, что еще недавно ты был человеком и даже имел права, которые почему-то не ценил.

Права человека... Они так переплелись с жизненной необходимостью, что без них, казалось, и жить нельзя, казалось, все эти права не дарованы тебе Советской властью, а продиктованы самой жизнью. Не будет этих прав — вся жизнь колесом пойдет.

Но теперь, пробыв три месяца в плену, Фридрих Сазонов по-новому взглянул на те самые права, от которых раньше отмахивался. Человек имеет право! А что имеет он, хефтлинг номер 5248? Ничего, никаких прав он не имеет. Он — вещь, которую хозяин в любую минуту может изрубить топором, сжечь на медленном огне, утопить в чашке воды...

Право на образование... Об этом праве ему настойчиво твердили в школе. Он ухмылялся и еле переползал из класса в класс, пока прочно не осел в восьмом. Его тянули изо всех сил, чтобы он использовал свое право на образование — прикрепляли к нему сильнейших учеников, прорабатывали на собраниях, сто раз брали честное слово, отец дома о его спину измочалил не один поясной ремень, — не помогло. Тогда отец, отшвырнув ремень, сказал:

— Умываю руки! Из балбеса человека сам бог не сделает!

Отец... Тогда Фридрих вроде бы даже презирал его.

Тогда он не понимал, что революция и гражданская война так напугали отца, что тот в последующие годы боялся всего и всех. Да и откуда было знать Фридриху, что отец, к сорока годам дослужившийся при царе до делопроизводителя, считал это своим жизненным потолком и больше смерти боялся крушения достигнутого благополучия? Отсюда и постоянная поспешность отца: объявили о подписке на заем — он старается подписаться одним из первых и лишь настолько, насколько предложено; отчисляют все по рублю на укрепление Осоавиахима — отец толком даже не знает, что за штука Осоавиахим, чем он отличается от МОПРа, куда он уже внес деньги, (да и рубль жалко), однако примерный патриот Иван Модестович Сазонов (хотя в душе и плачет) на людях улыбается и вроде бы даже с радостью выкладывает рублевую бумажку — самую мятую, засаленную многими руками и даже надорванную: в магазине такую продавец еще и вернет, а здесь примут!

Дома отец любил философствовать:

— Люди делятся на сильных, слабых и умных. Сильные мнут слабых, но! — тут он обязательно вздымал к потолку вытянутый палец.— Но — умный человек, если он даже слабый, никогда не пропадет в жизненной борьбе. Он не станет противиться течению, а поплывет в общем потоке, используя все, чтобы понадежнее добраться до берега и покрепче зацепиться за него.

Следуя этому правилу, отец самолично и нарек сына Фридрихом. В честь Энгельса. Разве это не доказательство настоящей приверженности к большевизму?

Вот и появился в русском городе Мценске новый гражданин республики Советов — Фридрих Иванович Сазонов. Ну, как это звучит?

Возможно, из-за этого проклятого имени и невлюбил школу: ребятня, она — дотошная, малейшую

фальшь за сто верст чует, и такими прозвищами увешала Фридриха, что не только в школу, а и на улицу глаз хоть не показывай...

Сегодня на небе узенький серпик месяца, вроде бы от него и толку нет, а вот нырнул он за тучку — сразу темно стало. Но не на столько, чтобы перестать видеть решетку из колючей проволоки. Одна из ее колючек пикой своей нацелилась прямо на Полярную звезду...

И еще отец часто изрекал, выпив стопочку:

— Зря ищут перпетуум-мобиле, он давно изобретен. Деньги — они всю жизненную машину крутят, на них власть в мире держится. Кто их больше получает, тот выше и на лестнице жизни стоит, у того и ступенька глаже и прочнее.

Отец остался верен этой теории и тогда, когда Фридрих, окончив ученичество на заводе, принес домой первую получку, которая оказалась немного побольше отцовской. Глянул отец на деньги сына, пересчитал их и что-то неуловимое дрогнуло в его лице, а Фридрих понял, что с сегодняшнего дня отцовская рука никогда больше не потянется за столь знакомым поясным ремнем.

Однажды, чтобы проверить правильность этого вывода, Фридрих пришел домой выпивши. Отец и бровью не повел. Только на другой день, словно между прочим, спросил:

— Много своих просадил? Или друзья угощали?

— Они, — соврал Фридрих, и отец немедленно ответил кивком, который лучше всяких слов пояснил, что умный человек так и должен поступать.

Жизнь, казалось, пошла нормально: отработал смену и гуляй себе на все четыре стороны. Ни тебе домашних заданий, ни окриков отца. Правда, заводской комсомол то субботник, то еще что затеет, но это было даже при-

ятно: народу собиралось много и было перед кем силенку и ловкость показать.

И вдруг призыв в армию!

Конечно, Фридрих знал, что в этом году его черед идти служить, но все же момент расставания с домом и заводом подкрался неожиданно быстро.

Отшумел, отгулял свое напоследок, покуражился перед знакомыми девчатами, дескать, мы не хуже тех, кто с Хасана и Халхин-Гола вернулись, дойдет до драки — мы себя покажем, и равнодушный паровоз потащил его вдогонку за солнцем.

Почти неделю гнались. Не догнали. У самой границы есть станция Шауляй. Здесь паровоз, будто обессилев от бешеной гонки, несколько раз тяжело вздохнул, окутался белым паром и замер. А Фридриха ткнули в колонну и повели в казарму, которая теперь на два долгих года должна была стать его домом.

Тяжелой показалась служба солдатская: все по сигналу и бегом, бегом...

Сторожкое ухо уловило уверенные шаги людей, и Фридрих затаился, стараясь определить, куда идут охранники сегодня: к ним или в соседний барак.

Но вот дверь барака с грохотом стукнулась о стену, лучи фонарей заметались по бараку, и до тошноты противным голосом завопил Журавль:

— На пол! Быстро!

Фридрих метнулся на пол, распластался на нем, прильнул к нему всем телом, которое непроизвольно сжалось в ожидании ударов. Рядом так же — словно мертвые — лежали товарищи. Зато у дверей, в которые ворвались немцы, раздавались глухие удары и сдавленные стоны. Там лежали раненые и те, кто окончательно ослабел. Они, конечно, не могли, как Фридрих и другие, рыбкой метнуться на пол, они чуть замешкались и вот...

Наконец, кого-то вытащили из барака, дверь еще раз хлопнула, и барак наполнила мертвая тишина.

— Орднунг! — усмехнулся немец.

Пол в бараке бетонный, пронизывает холодом голое тело: чтобы приучить русских к гигиене, спать заставляют раздетыми; раздетыми и распластались на полу. Тощие, посиневшие от холода. Ни дать, ни взять — покойники.

Уже четвертую ночь подряд врываются охранники в барак, и поэтому все дальнейшее известно до мелочей: через час этих сменят другие и так будет продолжаться до тех пор, пока не надоест коменданту лагеря. А пленные — лежи. И не шевелись!

Пусть холод от бетона в кости проник, пусть судорога рвет ногу или руку, пусть до невозможности в отхожее место надо — виду не подавай, лежи, будто колода бесчувственная. За малейшее шевеление — смерть. Удар прикладом по голове или очередь автоматная, которая в помещении прозвучит громовым раскатом.

Легче лежать, не так муки чувствительны, когда вспоминаешь или в будущее заглянуть пытаешься.

...Каким дураком он, Фридрих Сазонов, был, когда считал тяжелой свою солдатскую службу! Подумаешь, отделенный замечание сделал или взыскание наложил!

Почти с ненавистью вспоминает Фридрих, каким урсливым он был еще недавно. Только покосился на него отделенный, еще слова не сказал, а он уже обиделся, в спор вступил. А спор в армии — пререкания с командиром — воинское преступление. Из-за этой своей несдержанности даже войну не как другие встретил...

Шестнадцатого июня командир отделения сделал замечание за грязный подворотничок. Спокойным голосом и справедливое замечание сделал, как младшему брату сказал, а он — на дыбы и такого наговорил, что коман-

дир роты, проходивший мимо, немедленно наложил взыскание — шесть суток ареста на гарнизонной гауптвахте.

Посадили на гауптвахту двадцатого июня. Еще не успел распознать арестантскую жизнь, как беспокойный сон разметали взрывы бомб. Не только без оружия, но и без ремня встретил он, красноармеец Сазонов, ворвавшегося врага.

И тут еще одна ошибка, которая, возможно, стала роковой: ему бы остаться при комендатуре, а он решил немедленно вернуться в свою часть. Откровенно говоря, только потому так решил, что хотелось доказать и отделенному, и командиру роты, и товарищам, что хорошего бойца они придирами заездили. И он побежал по знакомой лесной дороге, впервые испытав чувство тревоги за товарищей, впервые поняв, как они дороги ему.

А небо было уже нежно-голубое. Входило солнце, и в его первых лучах зелень листьев казалась необычайно чистой, жизнерадостной.

Он бежал на запад, а навстречу ему лавиной катился непонятный грохот. Уже позднее Фридрих понял, что так предутренняя тишина леса исказила рев моторов мотоциклов. А тогда он просто удивился и машинально метнулся за деревья, едва из-за поворота дороги вдруг вылетели мотоциклисты и прошли лес и утро длинными очередями.

К вечеру грохот боя ушел на восток. Фридрих, как затравленный заяц пометался по лесу, попетлял и вечером вышел на дорогу, подняв руки над головой.

Потом был прямоугольник земли, огороженный колючей проволокой. И по углам его торчали часовые. Они, посмеиваясь, смотрели на пленных и, казалось, ничего против них не имели. Но когда один пленный подо-

шел к проволоке и уставился грустными глазами на си-
неющие дали, часовой застрелил его.

Ждали, что начальство взгреет часового, но оно толь-
ко посмеялось и ушло, приказав похоронить убитого в
окопах, которые дохлой змеей лежали на опушке.

Тихонько посудачили об этом случае и пришли к вы-
воду, что в этом лагере начальство—зверье. Вот поэтому
и невинного человека запросто застрелили, и хлеба два
дня вовсе не выдавали, и воды не привезли; пили из по-
зеленевшей лужи.

Ее, эту лужу, спустили к концу третьего дня. Сказа-
ли, что в стоячей загнившей воде много вредных бакте-
рий, и спустили.

А на другой день (четвертый день плена) привезли
селедку. Она была рыжая от соли и времени, но ее
съели с жадностью. Даже головы селедок облизали,
чтобы не пропала ни одна крошка.

Воду привезли только через сутки. Привезли в бочке
и, открыв кран, вылили на землю, истрескавшуюся от
зноя. Люди, почти обезумевшие от жажды, бросились к
струйке воды, которая, казалось, звенела и пела на все
голоса.

Немцы открыли огонь и многие пленные упали, не
добежав до воды. Переводчик пояснил:

— Русские солдаты—свиньи, не имеют понятия о
порядке. Запомните это слово—орднунг!.. Всем встать
в очередь.

Строили умышленно долго, затем пересчитывали,
распускали строй и опять строили. Когда очередь, нако-
нец, была готова, сухая земля без остатка поглотила во-
ду. Лишь потемнела на том месте.

Во имя орднунга расстреливали и нещадно избивали
палками, плетками и просто, свалив, топтали подкован-
ными сапогами. Избитых, как правило, пристреливали на

другой день, чтобы «уберечь остальных от заразы». Как известно, слабый человек более восприимчив к инфекционным заболеваниям.

Был и такой случай.

Ранним утром, когда особенно бодро звенят птичьи голоса, а на траве сверкает множеством радуг роса, около проволоки появился немецкий солдат, сказал что-то часовому и вошел на территорию лагеря. Вошел, осмотрелся и пальцем поманил к себе красноармейца. Тот поспешно встал, подбежал к немцу и вытянулся, как того требовал орднунг.

Немец влепил ему звонкую пощечину. Нет, ударил не со злости, ударил не кулаком. Ладонью ударил. Ударил и посмотрел, вся ли ладонь отпечаталась на щеке.

Вот и все. Посмотрел на щеку пленного, вытер руку носовым платком и ушел.

— Братцы, за что? — спрашивал красноармеец, вернувшись к товарищам.— Ведь я ему ничего плохо не сделал...

Что ответить? В голове сумбур. Да и опасно говорить то, что думаешь. Смерть непрерывно дежурит за плечами у каждого, и кое-кто, чтобы перехитрить ее, стал подличать; выдали еврея, который назвался армянином, и комиссара роты, затерявшегося среди пленных. Немцы вызвали их и повесили. Все догадались о доносе. С тех пор каждый внимательно вглядывался в соседа, не он ли гад, продавший человеческую совесть?

Когда ты ничего не делаешь, когда ты все время сидишь и боишься чего-то, земля будто замедляет свое вращение, и ты невольно думаешь, думаешь. О самом разном думаешь. А у Фридриха думка одна, о любимом изречении отца:

— Люди делятся на сильных, слабых и умных...

Если смотреть на жизнь глазами пленного, то сильные — немцы и они в бараний рог гнут слабых, безжалостно ломают.

Если верить отцу, это закономерно. Значит, ему, Фридриху, как слабому, только и остается ждать, когда сапог сильного раздавит?

Но Фридриху кажется, что немцы не так сильны, как можно подумать. Вот повели к виселице комиссара. Четыре автоматчика вели да еще почти взвод грудился около виселицы. Все настороженные: глазами зыркают из-под глубоких касок, пальцы на спусковом крючке автомата держат.

А он, комиссар — лицо кровью залито (автоматом саданули, когда забирали), тонкая шея из распахнутого ворота гимнастерки торчит, — шагал уверенно, словно не к виселице шел, а по своим обыденным делам. И смотрел гордо, без тени страха.

Кто же сильнее? Комиссар, смертный час которого пробил или его убийцы?

Этот вопрос, возникнув в сознании один раз, уже не забывался, настойчиво требовал ответа, а память, знай, подсказывала...

Течет вода из бочки, течет на землю, истрескавшуюся от зноя. Люди, как безумные, тянулись к воде, умоляют об одном глотке. Он в то время для них был дороже всего.

Еще сочилась кровь из ран товарищей, еще легкий дымок струился из стволов немецких автоматов, а комиссар уже закричал громко и призывно:

— Товарищи! Ведь мы же люди!

Его могли запросто срезать очередью, и он это знал. Знал и все же стоял во весь рост, и все же призывал людей вспомнить о человеческой гордости.

Выходит, честью соотечественников он дорожил

больше, чем своей жизнью. Выходит, он был согласен умереть, умереть лишь для того, чтобы враги не могли вдоволь насладиться страданиями, которые они породили.

Воды ему и при следующей раздаче не досталось...

А те гады, что Иудами стали, они что, умные? Те самые умные, которых восхвалял отец?

Нет, уж лучше сдохнуть, чем с ними на одной ступеньке жизни стоять, из одной с ними миски есть!..

Тогда, в том лагере, как о сказочном счастье мечтали, что переведут в другой, и там начальство окажется человечнее. И вот пригнали сюда, в эти бараки...

— Встать! По местам! — орет Журавль и сыплются удары прикладов автоматов, плетей и палок. Сыплются на спины тех, кто чуть замешкался.

Окостеневшее тело слушается плохо, руки и ноги будто чужие, но Фридрих лезет на второй этаж нар и, чтобы хоть немного согреться, сворачивается калачиком, утыкает подбородок в колени. Потом закрывает глаза. Он не хочет видеть своих высохших рук, обтянутых посиневшей и пупырчатой кожей. А ведь еще два месяца назад он десять раз подтягивался на перекладине...

2.

— Еще раз опоздаешь в садик, так выдеру, что небо с овчинку покажется,— пообещал однажды отец.

Фридриху тогда исполнилось лет шесть или семь. Ему очень хотелось увидеть, как огромное небо, шапкой нахлобученное на землю, вдруг начнет превращаться в маленькую овчинку, и завтра он опоздал нарочно.

Отец за опоздание выпорол так свирепо, что Фридрих дня два сидеть не мог и ходил-то еле-еле, но небо нисколько не уменьшилось в размерах. Даже попытки

к этому не сделало. «Обманул отец»,— решил маленький Фридрих.

Позднее, уже в школе, он понял, что отец употребил иносказательное выражение, а вот сейчас небо действительно казалось ему с овчинку. И не потому, что смотрел на него через окошко, затянутое колючей проволокой: ни малейшего проблеска на улучшение жизни нет, вот что главное. То, что произошло ночью, лишь одно маленькое звено в цепи тех мучений, через которые он проходит ежедневно.

Еще, примерно, месяц назад Фридрих и некоторые другие, собравшись в кружок, мечтали о том, как ахнут домашние, как будут лить сочувственные и умильные слезы, когда узнают об всем, через что довелось пройти их сынам и братьям. Фридрих и некоторые другие чуть ли не причисляли себя к героям, принявшим муки за народ. Такие думы хоть немного, но скрашивали нечеловеческие муки. Однако комиссар безжалостно раз-метал их:

— За что, за какие подвиги себя в герои зачисляете? Сдались в плен, народ свой предали, который на вашу защиту надеялся да еще и сочувствия у него ищите? Невиданная наглость!

— А ты кто такой, чтобы позором клеймить? — окрысился кто-то.

— Такая же сволочь, как и вы. Как и вы, присягу нарушил. Только понимаю подлость своего поступка... По делам вору и мука.

Горьки, невероятно горьки слова комиссара, но больше ни один человек не осмелился слова сказать против: все знали, что комиссара полуживого вытащили немцы из-под развалин дзота, где стоял его пулемет. Выходит, не было вины комиссара в том, что он в плену оказался; так уж его судьба военная распорядилась. А

ведь кое-кто и без особой нужды лапки к небу поднял. Растерялся и поднял. Так, им ли спорить с человеком, совесть которого чиста?

Не стало этих утешительных разговоров и еще больше осточертело все вокруг, так невыносимо стало жить, что некоторые сами на проволоку бросались, чтобы быструю смерть принять...

Сегодня воскресенье, немцы отдыхают. Значит, день пройдет сравнительно спокойно. Фридрих вышел из барака, подошел к Никите, который облюбовал местечко у залитой солнцем стены барака.

Кто такой этот Никита, какой местности уроженец, из какого рода войск — ничего не знал Фридрих: в лагере все выдавали себя за малограмотных и самых обыкновенных стрелков. Просто случилось так, что там, еще в первом лагере для пленных, они оказались рядом. И ночью, валяясь на голой земле и под проливным дождем, они прижались друг к другу, понимая, что вдвоем все же вроде бы теплее, чем одному.

С той ночи они все время вместе. И на поверках, и в бараках. Даже во время «занятий по тактике» становились рядом.

«Занятия по тактике» — детище ефрейтора с длинными и тонкими ногами. При ходьбе он так яростно вскидывал их, что невольно начинало казаться — вот-вот сапоги сорвутся с его ног и улетят, если не к облакам, то уж к колючей проволоке — обязательно.

Ефрейтора прозвали Журавлем. Он довольно прилично говорил по-русски и поэтому обходился без переводчика. Впервые появившись на плацу лагеря, он сказал:

— Русские — прирожденные солдаты, они любят военное дело, увлекаются военными играми. Чтобы доставить вам удовольствие, немецкое командование прика-

зало мне заниматься с вами вашим любимым делом: я буду вести занятия по тактике. Прошу познакомиться с моими помощниками.

Помощники — пять солдат. У каждого в руке плетка или увесистая дубинка.

— Становись!

Родная команда прозвучала как хлесткий удар кнута.

А потом... Потом Журавль заставлял ложиться и вставать, ползать по-пластунски и бегать в атаку. И еще требовал, чтобы кричали «ура». Не просто так, а бодро кричали.

Немцы-помощники били тех, кто отставал или, обессилев, не мог больше подняться. Били плетками и палками. Топтали сапогами.

К концу «занятий» многие из пленных оставались лежать на земле. Некоторых из них сразу после «занятий» уносили к воротам, куда складывали умерших. Остальных Журавль приказывал положить на нары в бараке, у самого входа:

— Чтобы на построения не опаздывали.

Вроде бы Журавль проявил заботу о самых слабых, но пленные поняли его правильно: чтобы первые удары обрушивались на них, чтобы скорее оборвалась тоненькая ниточка их жизни.

Но самое страшное и коварное, что таилось в этой «заботе» о слабых, поняли чуть позднее.

Дело в том, что когда всем приказывают построиться перед баракom, пленные стараются как можно скорее проскочить узкую горловину дверей: последних забьют в бараке, они уже не выйдут из него; их вынесут. И поэтому все летели к дверям, ломались вперед, локтями и кулаками пробивая дорогу. В этой свалке у дверей и раньше бывали пострадавшие. А теперь по воле Журавля на пути несущейся толпы оказались самые слабые.

Двух из них задавили при первом же построении.

Во время одного из «занятий» Фридрих вдруг почувствовал, что встать по команде уже не сможет. И тогда неспеша подойдут к нему немцы...

У него только и хватило сил прохрипеть:

— Я готов...

— Встанешь, гад! — с неожиданной злобой захрипел и Никита.— Встанешь, гад ползучий! Или и мне на радость фрицам с тобой подышать?

Потом, вернувшись в барак и распластавшись на жестких нарах, Фридрих осознал, что эти внешне грубые слова Никиты на какое-то время вернули ему силы. Тогда, на плацу, разноцветные круги мельтешили перед глазами, земля плыла, становилась дыбом. Он непременно грохнулся бы на землю, но Никита обхватил его, прижал к себе, а Журавль новой команды не подал: время «занятий» истекло.

С тех пор для Фридриха нет человека дороже Никиты. Да и тот, похоже, еще больше привязался к нему. Вот и сейчас, едва Фридрих вышел из барака, едва отыскал глазами Никиту, а он уже пододвинулся, освобождая место рядом с собой.

Несколько минут сидели молча, наслаждаясь покоем и теплом. Потом Никита сказал:

— Я решил, со щитом или на щите, как говорили наши предки.

Фридрих понял: надо бежать, бежать в ближайшие дни или будет поздно.

Невольно вспомнилась судьба одного танкиста. В первые дни плена он все хорохорился: «Вот немного подзаживет рана, чуть отдохну, наберусь сил и удеру! Честное слово, удеру!»

Да разве здесь залечишь рану? Наберешься сил?

Позавчера уволокли к воротам того танкиста.

— О чем разговор? — спросил остановившийся пленный, которого прозвали Ковалком. Он вечно, вроде бы бесцельно шатался по лагерю, лез ко всем с разговорами и неизменно выклянчивал что-нибудь.

— Хоть малюсенький, вот такой ковалочек хлеба,— канючил он, глядя прямо в рот, хотя прекрасно знал, что тому, у кого он выпрашивает кусочек, выдана точно такая же пайка, как и та, которую он уже проглотил.

Ковалка все сторонились. Ни в чем особо плохом он замечен не был, но близости с ним избегали. Фридрих ненавидел Ковалка. До плена Фридрих был равнодушен к людям. Правда, у него водились приятели, с которыми он выпивал и шатался по городскому парку, но исчезни любой из них — он и бровью не повел бы. Но в плену, попав в чудовищную машину, где ломали человека, где все было нацелено лишь на то, чтобы уничтожить его, он вдруг стал интересоваться людьми. Он мысленно разделил их на две группы: тех, кто против него, и всех прочих. Первых ненавидел так, что темные пятна застилали глаза, когда смотрел на них. Ко вторым относился доброжелательно. Нет, ни для кого из них он не снял бы с себя рубашки, ни для кого из них не отломил бы крошки от своей пайки. Но все же уважал. Особенно комиссара. Попроси он, может, и урвал бы от себя что, а для остальных — дудки!

Кроме Никиты, конечно. За него Фридрих даже на любые муки пошел бы.

А вот Ковалка ненавидел. За чрезмерное любопытство и вечное попрошайничество. Но Фридрих уже усвоил, что здесь, когда твой каждый шаг стерегут двуногие волки, выгоднее прятать свои настоящие чувства, и поэтому ответил Ковалку спокойно, даже с ленцой:

— Так, ни о чем.

— Таитесь?

— Дурак ты, а не лечишься,— процедил Никита.

Чтобы предохранить друга, Фридрих торопливо сказал:

— Глянь, Ковалок, там никак делят что-то.

Ковалок оглянулся, увидел четырех пленных, грудившихся у входа в барак, и заторопился к ним.

— Так как?

— План имеешь?

— Темнота, как у негра в желудке.

Побег... Он снился ночами, к нему стекались мысли все время, как только в измученное тело начинала возвращаться жизнь. Во сне все выглядело чрезвычайно просто: Фридрих уже идет по дороге, а рядом шумит лес, каждый листок дерева тянется к нему, каждая травинка ластится к ногам. И обязательно на небе солнце...

Звонкая очередь коротко ударила по ушам и оборвалась. При первых звуках ее, чтобы не зацепила шальная пуля, и Фридрих, и Никита, и все другие распластались на земле. Выждали, не загремят ли снова выстрелы, не раздастся ли какая команда и лишь после этого стали приподниматься, садиться и потом — оглядываться по сторонам: кто сегодня и за что оказался мишенью?

Чаще всего стреляли по тому, кто, по мнению часового, слишком близко подходил к проволоке. Но сегодня человек был убит метрах в ста от запретной зоны. Он лежал у ярко-зеленого пятачка, в один ряд обнесенного колючей проволокой. Кругом голая земля, а в центре ее этот зеленый островок. Там росла самая обыкновенная трава. Та самая трава, которую люди обычно безжалостно попирают ногами. Но в лагере для пленных, куда согнали тысячи изголодавшихся людей, и трава признана едой. Ели ее корешки. Потом страшно мучились животом, но все равно ели.

Немцы приказали вырвать с корнями всю траву. Оставили лишь четыре пяточка против вышек с часовыми. И обнесли траву колючей проволокой. Будто тоже арестовали.

Кто притронется к этой дразнящей глаза траве, тому смерть.

Мертвая рука лежит на нежной зелени...

— Вдвоем? Или еще кого прихватим?

В лагере человек боялся человека, не верил человек человеку, и Никита ответил:

— Вдвоем, шума лишнего не будет.

Однако бежать Никите не пришлось.

Ночь прошла спокойно. И день начался необычно тихо. Словно немцы вдруг забыли про свою обязанность при первой возможности истязать людей. А сразу после обеда, когда в кишках еще бурлила баланда, Журавль увел двух человек за пределы лагеря. Немного погодя они вернулись со столбом на плечах.

— Вкопать здесь,— приказал Журавль, топнув ногой в центре плаца.

И столб вкопали. Он был невысок и не очень толст. Примерно, такие столбы торчали у волейбольных площадок. Словом, вкопали самый обыкновенный столб. Но на него смотрели с опаской: без задней черной мысли охрана лагеря еще ничего не сделала.

— У русских есть национальная игра: лазить на столб и брать приз. На высокий столб русские лезят. Мы поставили маленький. Прошу желающих показать силу и ловкость,— сказал Журавль, ослабившись.

Столб всего метра на три возвышался над землей. В мирной жизни добраться до вершины такого — раз на ладони плюнуть. Но теперь... Теперь сила не та. Да и не хочется стараться на потеху врагу.

— Нет желающих? Странно,— в голосе Журавля слышится что-то зловещее. Он глянул на пленных и ткнул пальцем в грудь одного: — Ты!

— Рука у меня,— ответил тот, показывая руку, завернутую в грязную тряпку.

— Не хочешь?

— Не могу я. Кто же с одной рукой на столб лазит?

Журавль как-то незаметно достал пистолет и выстрелил.

— Убит за отказ выполнить приказ немецкого солдата,— хладнокровно пояснил он, опустив дымящийся пистолет.— Ты!

Ковалок, на которого упал взгляд Журавля, рванулся к столбу, неумело облапил его и полез. Ковалок, похоже, никогда не только на столб, но и на дерево приличное не лазил и поэтому, чуть приподнявшись над землей, неизбежно съезжал обратно.

Он исцарапал в кровь ладони, окончательно выбился из сил, но с животным страхом в глазах все бросался и бросался на столб.

Немцы смеялись. Журавль самодовольно покачивался на носках.

И тогда Никита не выдержал.

— Я полезу,— сказал он и оттолкнул Ковалка. Тот юркнул в толпу.

— Доброволец? — расплылся в улыбке Журавль.

Никита с трудом, но добрался до вершины столба, ухватился за нее, ожидая дальнейших приказаний. Фридрих понял, что сейчас Никита очень доволен: он, даже ослабевший, смог постоять за честь советского человека. Он из последних сил держится за вершину столба.

— Прыгай,— приказал Журавль.

Никита прыгнул. И в тот самый миг, когда он был еще в воздухе, раздалось несколько выстрелов.

— Убит за то, что попытался прыгнуть на солдата великой немецкой армии,— охотно пояснил Журавль.— Следующий? Прошу!

Следующий молча подошел к столбу, прислонился к нему спиной.

— Ну, почему не лезешь?

— Так стреляй. Тебе ведь это главное.

— Догадался! — засмеялся Журавль.

Еще, примерно, с час у столба гремели выстрелы. И хохотали немцы.

3.

Ночью в бараке похвалялся Ковалок:

— Я вовсе не слабый, я мог бы запросто на столб влезть, но вижу немцам не это желательно, ну и угодил им. Они сейчас господа над нашими жизнями, мы у них, что птаха в руке мужика. Сжал пальцы и треснули ребрышки. Так зачем гонор свой показывать? Нам главное — выжить.

Главное выжить... Главное — в попутной струе до берега добраться... Что-то похожее проповедовал отец.

Слез не было, выгорели они. Но злоба душила, ей нужно было дать выход, иначе она, ослепив, могла на колючую проволоку под выстрелы бросить. Фридрих, соскочив с нар, подошел к Ковалку, ударил его в висок. Ковалок лишь вздрогнул от неожиданности. Потом злобно сверкнул глазами и ударил. От его ответного удара Фридрих упал к основанию нар. Ковалок посмотрел на него презрительно и сказал:

— Убил бы тебя, как слизняка, да не буду. Пожа-лею: за меня держаться станешь или сам скоро сдохнешь.

С вечера небо затянули серые тучи, скрыли луну и Полярную звезду. Беспросветная чернота кругом. И в

бараке, где не смолкают кашель, стоны и крики, и во всем белом мире.

Еще вчера, договариваясь с Никитой о побеге, Фридрих хотел бежать лишь для того, чтобы выжить. А сейчас он вдруг отчетливо понял, что ему и жизнь не мила, пока Журавль и другие немцы хозяйничают на земле, что нужно обязательно бежать, но бежать не для того, чтобы просто выжить. У него появилась святая цель побега: бежать, чтобы мстить врагу. Ради нее, этой мести, он многое уже перенес, еще больше перенесет, но все равно убежит и потом будет беспощадно мстить. И за то, что пришлось пережить народу, и за себя, и за Никиту.

Эх, Никита...

Фридрих достал из щели остро заточенную полоску железа и, крадучись, пошел туда, где спал Ковалок.

Несколько рук схватили его и зажали рот, когда до Ковалка оставалось метра два. Они же, эти руки, унесли его на нары, осторожно положили. А еще через несколько секунд кто-то лег на место Никиты и зашептал в самое ухо:

— Не будь дураком. Убьешь здесь — весь барак в ответе, каждого десятого расстреляют... Жди, лови момент... Жди, мы сами к тебе подойдем.

Ушел неизвестный друг. Фридрих снова уставился в темное окошко. Небо по-прежнему было затянуто тучами и моросил дождь, но Фридрих смотрел в темноту, смотрел туда, где обычно сияла Полярная звезда.

4.

На следующий день Фридрих особенно пытливо вглядывался в лица товарищей по бараку, старался угадать, кто же из них неизвестные друзья. Но угадать не

мог. Все казались одинаково угнетенными и, если и не покоренными, то уж надломленными, безразличными ко всему, кроме своей собственной жизни.

А Журавль по-прежнему важно вышагивал по лагерю, и его путь обозначали выстрелы. Казалось, неоткуда Фридриху ждать перемен, казалось, ему только и останется, что подлизываться к Ковалку, который все больше и больше набирал силу, захватывал власть. И вдруг все круто изменилось. Началось с того, что Журавль остановил его и выстрелил вопросом:

— Комиссар?

— Никак нет, рядовой Фридрих Сазонов.

Журавль пожевал бескровными губами, круто повернулся на каблуках и зашагал к домику, где размещалась комендатура лагеря. Зашагал, отрывисто бросив:

— За мной.

И они пересекли весь лагерь. Сотни глаз следили за ними. Сотни людей, на время забыв о своих муках, сочувствовали Фридриху: если кого-то вызвали в комендатуру, то только за тем, чтобы позднее сбросить с крыльца что-то, отдаленно напоминающее человека.

После гибели Никиты жизнь для Фридриха, как казалось ему, стала еще менее привлекательна. Он впал в какое-то оцепенение, даже чувствительность к боли вроде бы потерял. Вот и сейчас, шагая за Журавлем и зная, что ожидает его в комендатуре, он не боялся, ему было безразлично все, что произойдет там. Он знал, что не сможет умереть так же гордо, как комиссар, и не жалел об этом. Но дал себе слово не вымаливать пощады, не покупать жизнь ценой подлости.

— Ждать здесь,— приказал Журавль, когда они вошли в коридор, от стен и тишины которого повеяло могильным холодом.

Фридрих повернулся лицом к стене и замер. Просто-

ял так долго, что ноги затекли, мысль словно умерла. Не человек, а подобие его стояло, уткнувшись лицом в серую штукатурку стены.

— Сюда! — позвал Журавль.

Фридрих вошел, остановился у порога, бегло осмотрел и комнату, и все, что было в ней.

Комната как комната: четыре угла, два окна, письменный стол в простенке между ними. Над столом портрет Гитлера. Он будто смотрел на Фридриха, будто ему дарил свою улыбку. И Фридрих подумал, что вот так, улыбаясь, смотрит он и на то, как здесь избивают людей, ломают их кости, вытягивают жилы. Смотрит на все это и улыбается.

За столом сидел комендант лагеря. Обычно он словно не видел пленных, застывших перед ним серыми квадратами. Сегодня же взгляд — осмысленный, живой.

Комендант и Журавль обменялись несколькими фразами. Если бы Фридрих знал немецкий язык, он понял бы все, о чем они говорили и, может быть, вспылив, погубил бы себя. Но он ничего не понимал, с жизнью уже простился и поэтому стоял спокойно. А комендант сказал:

— Вы, кажется, правы: в нем несомненно есть арийская кровь. И череп нордический, и покорность судьбе, свойственная только немцам.

— Вы очень тонко все это сразу подметили,— выпятил грудь Журавль, еще выше вскинув подбородок.

— Поведение?

— Ни в чем не замечен.

— Держится особняком или у него есть друзья?

— Больше один.

— Логично: немецкая кровь не позволяет смешиваться со всяким сбродом... Спросите, почему он скрывал свое имя?

Журавль перевел вопрос, и Фридрих немедленно ответил:

— Никак нет, в списке так и числится.

Это уже проверили и, одобрительно кивнув, комендант сказал:

— Использовать для работ за чертой лагеря.

Журавль щелкнул каблуками, до невозможного выпятил грудь и повелительно указал подбородком на дверь. Фридрих по армейской привычке четко повернулся. Только он прикоснулся к дверной ручке, как комендант что-то сказал. Журавль немедленно перевел, пытаясь сохранить интонацию голоса коменданта:

— С тобой в бараке есть евреи? Комиссары?

По тону предыдущего разговора Фридрих уже понял, что сегодня он уйдет отсюда сам. Сразу сердце забилося учащенно, сразу появились не только жажда жизни, но и желание получше использовать счастливый момент. Он ответил:

— Никак нет, евреев и комиссаров не имеем. А вот типчик один болтается.

— Кто такой?

— Фамилию не знаю. Его Ковалком кличут.

— Ковалок? Что есть ковалок?

— Кусок, будто бы по-белорусски... Тот самый, что на столб лез и залезть не смог. Похвалялся при всех, что обманул вас. Так и сказал, извиняюсь за выражение: «Я обманул того длинного дурака».

Лицо Журавля покрылось неровными красными пятнами, он кратко сказал что-то коменданту, бросил Фридриху сигаретку и снова показал на дверь.

Память на лица у Журавля оказалась хорошая: примерно через час он разыскал Ковалка, подвел к столбу:

— Лезь.

Ковалок, как и в прошлый раз, начал старательно

срываться, но Журавль положил руку на кобуру и тот проворно полез по столбу.

— Прыгай.

Кулем свалился Ковалок на землю. Лежал и ждал выстрела.

— Еще раз.

И еще раз Ковалок благополучно добрался до вершины столба и прыгнул на землю.

— Очень хорошо. Тебя потренировать и ты станешь чемпионом. Я сам позабочусь о твоей судьбе. Тренировать начну сегодня. Жди, вызову.

После первой же «тренировки» всю ночь стонал и плакал Ковалок. Фридрих остался равнодушен. Он не раскаивался в том, что руками немцев убивал Ковалка, но и радости или хотя бы — облегчения — тоже не испытывал.

Невольно вспоминалось недавнее. Он догуливал перед армией последние дни в родном городе. Был тихий вечер, и солнечная позолота разлилась по крышам домов, запуталась в высоких облаках. Где-то за зелеными кустами сирени, обступившими домики тихой улицы, мужской голос тосковал о Любушке. Тихая радость и грусть одновременно захлестнули Фридриха, он шел по дороге, смотрел себе под ноги и мечтал о чем-то хорошем. Вдруг глаза остановились на кошке. Она, раздавленная колесом грузовика, смотрела на мир уже остекленевшими глазами.

Тогда, глядя на труп кошки, Фридриху очень захотелось поймать шофера-убийцу и трахнуть головой о забор...

А здесь человек на смерть обречен. И нет жалости...

Три дня «тренировок», и Ковалка за ноги утащили к воротам.

Еще год назад, приехав в Прибалтику, Фридрих обратил внимание, что сосны здесь стоят не прямо, а наклонились в сторону от моря. Как бы, начали падать и вдруг почему-то остановились.

Старшина-сверхсрочник, у которого он спросил об этом, ответил:

— Как задует ветер с моря, смотри, сам не согнись.

Дует ветер с моря, ровный и сильный. Третий день дует и третий день деревья стоят согнувшись. Этот же ветер, что все пригнул к земле, гонит густые серые тучи, из которых то хлещет как из ведра, то нудно моросит дождь.

Под серым небом, по серой намокшей песчаной дороге медленно идет колонна пленных. В ней ровно сто четыре человека. Это все те, кому разрешено работать вне лагеря. Они идут к железнодорожной станции, где уже вторую неделю разбирают развалины станционного здания, водокачки и красноармейских казарм. Не просто очищают площадки, а еще и сортируют кирпичи: целые — на одну платформу, половинки и даже четвертинки — на вторую; мелкий бой идет на засыпку множества воронок от авиабомб, исковеркавших не только все станционные пути, но и привокзальную площадь. Немцы—хозяйственный народ, следят, чтобы ничего не пропало.

В замыкающей четверке колонны идет Фридрих. Уже второй раз идет на работу. Одежда, которая за вчерашний день промокла до нитки, за ночь не успела высохнуть, а сейчас и вовсе хоть выжми. Но он равнодушен к этому, он даже рад, что его в такую непогоду выгнали из барака. Дело в том, что после гибели Ковалка вокруг Фридриха образовалась пустота. Нет, барак был по-прежнему переполнен, на нарах по-прежнему не бы-

ло ни одного свободного места. И все же вокруг Фридриха образовалась незримая пустота.

Почувствовав ее впервые, он удивился и с каким-то пустячным вопросом обратился к соседу. Тот нехотя ответил и сразу отошел, дескать, к дальнейшему разговору не расположен.

«Почему они так? Что я такого сделал?» — думал он, пока не понял: он первый из пленных, который вышел из комендатуры живой, и без единого синяка.

Кричать на весь лагерь, что виной всему имя, данное отцом?

Никто не поверит. Фридрих окончательно замкнулся в себе и даже с радостью встал в колонну, когда его вызвали; хоть куда, только бы подальше от подозрительных глаз товарищей по бараку.

Вчера он впервые покинул лагерь и прошелся в колонне пленных по улочкам маленького городка. Непривычно было видеть людей в самой обыкновенной одежде и без самодовольного конвоира сзади. Потом глаза к этому привыкли и даже заметили, что большинство людей хмуры, озабочены. Стало ясно, что не очень-то радуется та свобода, которой они пользуются.

Но больше всего Фридриха поразила карта фронтов. Она висела в витрине магазина, была видна издали. Фридрих невольно замедлил шаг, поравнявшись с ней. Черная с желтыми подпалинами овчарка немедленно рванулась к Фридриху, но проводник осадил ее поводком и сказал, махнув рукой в сторону карты:

— Ком!

Фридрих подошел к витрине. За ее стеклом висела самая обыкновенная карта Советского Союза. Розоватое поле родной страны пересекала ломанная линия коричневых флажков с паучьими ножками в белом круге. Эта линия, начинаясь на севере рядом с Мурманском, на

юге упиралась в Азовском море. Вся Прибалтика, Белоруссия, Украина...

Коричневая петля фронтов захлестнула Ленинград...

Коричневые флажки с севера, запада и юга обступили Москву...

Неужели не врал Журавль, когда разглагольствовал перед пленными, что до окончательной победы немцев остались считанные дни?

Видимо, столько отчаяния было на лице Фридриха что проводник собаки, поджидавший его чуть в отдалении, захохотал:

— Москва капут! Красная Армия капут!

Фридриха послали разбирать развалины паровозного депо. Он старательно сортировал кирпичи, носил и грузил их на железнодорожную платформу, а перед глазами все маячила линия коричневых флажков. Временами казалось, будто это живая коричневая змея, будто она шевелится, готовясь к новому броску.

Проводник собаки, разрешив Фридриху подойти к карте, предполагал, что русский, увидев линию фронта, сникнет, окончательно смирится со своей участью, но случилось обратное: Фридрих твердо решил бежать при первой возможности. Бежать для того, чтобы бороться с немцами: убивать одиночек, пускать под откос поезда, словом, вредить, как только сможет.

Решение созрело окончательно и сразу стало легче на душе. Будто даже туч поубавилось и дождь потеплел.

Как только обозначилась ясная цель жизни — обострилось внимание. Разбирая развалины, Фридрих заметил, что конвоиры, когда пленные работают, больше отсиживаются в деревянном домике, чудом уцелевшем около бывшего здания вокзала. Пересчитывают пленных только перед возвращением в лагерь. Значит бежать нужно, чтобы побольше выиграть времени, сразу после

прибытия на работу; лучше всего,— прыгнув на один из поездов, которые через эту станцию идут на восток.

Обдумал все это Фридрих еще вчера и поэтому сегодня сразу зацепился глазами за состав, стоявший на соседнем пути. В голове состава был паровоз. Он изредка выбрасывал в стороны клубящиеся струи пара, вернейший признак того, что вот-вот начнет свой бег.

Действительно, едва конвоиры укрылись в домике, паровоз прогудел и почти тотчас раздался лягг сцепок. Он быстро приближался к Фридриху, с каждой секундой становился все призывнее, требовательнее.

Дальнейшее произошло удивительно просто: мимо медленно плыла платформа с ящиками, закрытыми брезентом. Фридрих подбежал к ней и вскарабкался на тормозную площадку, упал на нее, страхась выстрелов и криков. Но сзади было тихо. Не заметили!

Поезд набирал скорость, его колеса на стыках рельсов весело выстукивали одно слово: «Свобода! Свобода!» Ветер с моря, тот самый, который безжалостно гнул к земле деревья, теперь рвал с Фридриха гимнастерку, будто предупреждал, что в ней он, Фридрих, далеко не уйдет, что она выдаст его первому встречному и тогда...

Не хотелось думать о том, что будет тогда.

Свободен! Вот что главное в жизни!

Промелькнули первые минуты беспредельной радости, когда все беспричинно мило сердцу, и сразу навалились заботы. Прежде всего, залезть под брезент, чтобы случайно не попасться кому на глаза.

Под брезентом не пронизывает ветер, не сечет дождь. И вообще здесь очень хорошо. Даже голые доски платформы, на которых лежал Фридрих, казались мягче тех, нарных.

Так и лежал бы, лежал не шевелясь, без еды и питья, до тех пор, пока мимо не заструится земля смоленщины

или Подмоскoвья: ведь всего около суток бежать поезде до нее!

Однако свобoда пока еще не полная, бороться за нее нужно. И прежде всего, если хочешь сохранить свою жизнь, покинь эту платформу: обнаружив побег, немцы обязательно известят об этом всю железнодорожную охрану и та осмотрит поезда.

Он решил покинуть поезд под вечер, когда немцы обычно начинают поверку. Обнаружив побег, они сначала обшарят все развалины и лишь после этого поднимут тревогу. Затем начнется второй этап поисков: тщательное прочесывание местности около станции и лишь тогда тревожный сигнал по линии.

Хотя, будет ли этот тревожный сигнал? Пожалуй, нет: зачем коменданту лагеря позорить себя в глазах начальства, если так просто списать пленного на тиф или другую причину?

Скорее всего, так и будет. Значит, с этой стороны опасности не жди. Но береженого и бог бережет, как говорил отец. Отец... Во многом он ошибался, но тут прав...

А поезд знай бежит. Непонятный поезд: без охраны, но бежит по зеленой улице семафоров.

К полдню исчезли сплошные сосновые леса и теперь ветер с моря, потерявший свою напористость, лишь трепал облысевшие ветви берез и осин. Мелькают хутора, скучные в своем одиночестве.

Не слышно ни гула самолетов, ни выстрелов, но война и здесь, она рядом. О ней напоминают воронки от авиабомб, разворотившие землю около железнодорожного полотна, наспех вырытые окопы неполного профиля с уже обвалившимися стенками и брустверами, размытыми дождями, и могильные холмики земли. С белыми крестами и без них. С крестами — больше. Они хо-

роводятся на пригорках, у населенных пунктов. Под каждым крестом лежит немец. Будь его воля, он, Фридрих, не пожалел бы родной земли для таких крестов. Огромную гору утыкал бы ими, обнес колючей проволокой и, как память, хранил века. В назидание другим.

Вечер подкрался незаметно. Фридрих вдруг заметил, что лес уже не проглядывается в глубину, а стал сливаться в темную массу, и выждав, когда поезд притормозил у семафора, прыгнул с тормозной площадки. Он не устоял на ногах и кубарем скатился под откос, распластался в небольшой канавке.

Лежал неподвижно, пока вдаль не стих веселый перестук колес поезда. Потом уполз в лес.

Всю ночь Фридрих продрожал в яме под корнями дерева. Всю ночь над ним тревожно шумели вершины деревьев, и где-то рядом надсадно скрипела сушина, заставляя вздрагивать и сторожко вслушиваться и всматриваться в ночь.

О многом и самом неожиданном передумал Фридрих за эти часы. Он понимал, что его мучениям еще далеко до конца, что, может быть, его жизненная дорожка оборвется и затеряется в этом чужом лесу, где ни одно дерево не знакомо. Может, пройдут долгие годы, прежде чем кто-то в этой глухомани случайно натолкнется на его побелевшие кости. Погадает, кого здесь настигла смерть, и небрежно забросает землей и хворостом останки человека. Или равнодушно пройдет мимо. Все может быть,

Но даже такая бесцветная смерть и то во сто крат лучше, чем то, что было уготовлено ему в лагере!

Едва стволы деревьев вновь приобрели четкость линий, Фридрих встал и сразу побрел на восток.

От голубицы, которая посинила все кочки, во рту кисловатый привкус. Пожалуй, надо поостеречься...

Кругом полно грибов. Подберезовиков и сыроежек. Интересно, почему сыроежки так называются?.. Может, попробовать?..

На полянку, в центре которой стоял маленький домик, как старинная крепость, обнесенный частоколом, Фридрих вышел уже к концу дня, когда, казалось, еще несколько шагов — и он упадет на землю, прикрытую опавшими пожелтевшими листьями. Упадет такой же желтый и умирающий раньше времени.

У домика, который казался нежилым — ни дымка над крышей, ни даже занавесочек на окнах, — рядом пристроились огород и небольшое поле, где кустилась стерня; вокруг поля и огорода — плотная изгородь. Ясно, хозяин бережет свое добро.

Голод и необходимость переодеться в гражданское были настолько велики, что Фридрих решил войти в дом. Не пробраться воров, не робким просителем явиться, а войти и потребовать: «Дай!» Тогда он почему-то считал такие действия единственно правильными.

Едва подошел к калитке, как за высоким и плотным забором взъярилась собака. На ее захлебистый лай вышел хозяин домика, прикрикнул на собаку не столько строго, сколько успокаивающе, и открыл калитку, звякнув запором.

Хозяин был выше Фридриха почти на голову и широк в плечах. Лицо его изрезали такие глубокие морщины, что они казались шрамами, косыми сабельными шрамами, и поэтому оно выглядело суровым, даже жестоким. Серые глаза хозяина домика равнодушно скользнули по Фридриху, но зато внимательно осмотрели лес, из которого он вышел.

Наконец, хозяин чуть посторонился, открывая дорогу во двор. Однако Фридрих заранее настроил себя на определенный лад и заговорил зло и с обидой:

— В тепле отсиживаешься, когда люди гибнут? Ряшку на чужой беде наедаешь?

Хозяин домика неожиданно вытянул вперед руку с пальцами-клещами и так рванул Фридриха к себе, что тот пушинкой влетел во двор. Сзади лязгнули засовы.

Снова неволя! Она была так ненавистна, что Фридрих, не веря в успех, все же бросился на хозяина домика, попытался вцепиться пальцами в его жилистую шею. Тот неуловимо легким движением сгробастал его руки и так сжал, что Фридрих окончательно понял: сопротивляться бесполезно. И заплакал от бессильной злобы.

Заплакал Фридрих от бессилия, а хозяин, продолжая придерживать его руки, вел к крыльцу.

В кухне, где каждая доска пола была выскоблена добела, он толкнул Фридриха к скамейке, стоявшей у бревенчатой стены, и сказал:

— Раздевайся.

Сказал первое слово и сразу ушел в соседнюю комнату. Только скрылся он за дверью, а Фридрих уже увидел плотничий топор. Поблескивая наточенным лезвием, он торчал из-под рейки, прибитой к стене. Вот она, свобода! И Фридрих схватил топор. Выходи, вражина, я готов к разговору с тобой!

Хозяин вернулся в кухню. В руках у него одежда. Сухая одежда. Фридрих на расстоянии чувствовал тепло, исходящее от нее.

Увидев топор в руке Фридриха, хозяин дома, похоже, не удивился и нисколько не испугался. Он, будто Фридрих и не сторожил каждое его движение, бросил одежду на скамью и повернулся спиной. Самое время ударить. Взмахнуть топором и ударить по крутому затылку, где чуть розовеет нарождающаяся лысина.

А еще через несколько минут в кухне запахло мясными щами и хлебом домашней выпечки.

Топор мешает, да и глупо делить с хозяином хлеб-соль и сжимать топориче. И еще Фридрих понял, что по сравнению с ним хозяин силен невероятно, что ему ничего не стоит вырвать топор из ослабевших рук. И Фридрих воткнул топор за ту самую рейку, где он и был раньше.

Фридрих ел с жадностью, ел, не различая вкуса.

Наконец, он положил ложку. Нет, чувство голода не исчезло, оно только чуть притупилось, но есть Фридрих уже не мог: живот набит до предела.

— Кури,— и хозяин протянул сигареты «Марет».

До войны они казались Фридриху слабыми (видимость одна, что куришь!), а теперь после первой затяжки приятно закружилась голова.

— Меня зовут Артур Карлович.

— Спасибо... А я — Федор Сазонов. Из плена бежал,— он стыдился своего настоящего имени и поэтому соврал.

— Что из плена — вижу,— кивнул Артур Карлович.— Куда идешь?

— На родину. Там снова воевать буду.

— Боши окружили Ленинград, Москву...

— Врешь! — выкрикнул Фридрих и вдруг заплакал от обиды, что этот человек, так хорошо встретивший его, совершенно равнодушен и к судьбе Ленинграда, и к судьбе Москвы.

— Родину любишь — хорошо... А Ленинград окружен...

— Знаю. Немцы нам нарочно свои сводки читали.

Несколько минут помолчали, потом Артур Карлович заговорил медленно будто подбирая слова и даже взвешивая их:

— У каждого человека Родина одна. И у каждого — своя. Моя родина — вот этот дом. Я двадцать лет горба-

тил спину, пока поставил его, пока купил морг земли... А тут пришли вы и говорите: «Вступай в колхоз». Нет, здесь все мое! Здесь во всем мой пот и кровь! Вот ты ел мой хлеб. Это мой пот и кровь. Ты схватил топор, хотел убить меня, а ведь в топоре тоже мой пот и кровь!.. А ты говоришь: «Вступай в колхоз»... Вы стали ломать то, к чему я привык с пеленок. Скажи, могу я любить вас, советских?

— Мы же лучшее тебе предлагаем...

— Ты мне покажи это лучшее, а дальше я уж сам решу, как мне быть!.. Не люблю я вас, советских.

— Значит, выдашь немцам?

— Дурак ты,— беззлобно сказал Артур Карлович и прикурил вторую сигарету.— Вас я просто не люблю, не знаю за что любить... А тех — ненавижу... Каждый обязан драться за свою родину, это долг человека. Так почему я должен мешать тебе выполнить его?.. В бога веришь?

— Нет его, бога. И ада нет.

— Значит, тебе прожить легче... А для меня он всегда есть.

— Тебе же хуже, что веришь. А лично мне от твоей веры ни жарко, ни холодно.

— Почему тогда все ваши агитировали меня? А почему ты не агитируешь? Ни за колхоз, ни против бога? Или ты не советский?

— Самый чистокровный советский. Только времени у меня нет спорить: еще далеко идти... Одно скажу откровенно, хоть обижайся, хоть нет. Что мне время на тебя тратить, когда ты и сам уже сомневаешься в справедливости своих слов?

Артур Карлович ничего не ответил. Посидел немного, положив на стол ладони, где твердыми буграми желтели мозоли, и вдруг сказал, подымаясь:

— Спать будешь на сеновале. Если ночью немцы нагрянут, выломаешь доску и уйдешь в лес... Однако, спи спокойно: на ночь глядя они сюда не забредут, место глухое.

6.

Неделю прожил Фридрих на хуторе Артура Карловича. Полностью отоспался, а вот голод утолить все не мог. Вроде бы и в живот больше уже ничего не лезет, а глаза все еще за еду цепляются. До того дело дошло, что хлеб воровать начал. Знает, отвратительно это, но удержаться не мог: едва отвернутся Артур Карлович и его жена Марта — он кусок хлеба в карман.

Марта пришла домой вечером. Без особой радости, но приветливо поздоровалась с незнакомым человеком, чуть задержалась взглядом на рубахе мужа, которая теперь болталась на незнакомце, и что-то сказала на своем родном языке.

— Она подгонит одежду по твоему росту,— перевел муж.

Вот и весь разговор. Может, оставшись наедине с мужем, Марта и расспросила его о Фридрихе, может, и упрекнула за рубаху, пиджак и брюки, но тогда не сказала больше ничего.

Неделю Фридрих имел возможность наблюдать за хозяевами хуторка. Они все время хлопотали по хозяйству и встречались только за столом. Поедят, помолчат и опять Артур Карлович берется за картуз, опять идет на огород или во двор, а Марта гремит ведрами: во дворе две коровы; три кабанчика и больше десятка кур; всех накормить надо.

И все же, хотя Артур Карлович с Мартой большую часть времени молчали, Фридрих был уверен, что они

прекрасно понимали и полностью одобряли все действия друг друга.

Жизнь на хуторке шла до того однообразно и размеренно, что Фридриху казалось, он бы от такого счастливого житья волком выл, на край света сбежал бы. Лишь в субботу нарушился обычный ход жизни: Марта, упаковав в заплечный мешок несколько кусков сала, собралась в путь.

— В Вильнюс, на базар,— выдавил из себя Артур Карлович, перехватив тревожный взгляд Фридриха.— Заночует у знакомых.

Марта ушла, шагая легко и широко, как хороший ходок, которому не привыкать подминать под себя версты. Артур Карлович проводил ее до калитки, постоял там, пока она не скрылась в лесу, и словно забыл о ней. А Фридрих волновался. Хотя это и казалось невероятным, но он боялся предательства. Действительно, кто он этим людям, чтобы они из-за него своим благополучием рисковали? Ведь, если немцы узнают, что Артур Карлович и Марта приютили у себя беглого из лагеря, то сотрут хуторок с лица земли. А выдаст Марта беглого — денег, может, и не дадут, но уж благодарность и доверие властей — обеспечены.

Мучительно долго тянулись суббота и воскресенье. Особенно бесконечной была ночь. О многом он передумал, вслушиваясь в ночные шорохи. То ему слышится шум моторов автомашин, приглушенный расстоянием, то крадущиеся шаги людей, окружающих сеновал.

Лишь перед самым рассветом забылся коротким и тревожным сном. А проснулся разом, как по сигналу тревоги, и первым делом осмотрел двор и лес. Нет, ничего не изменилось.

Марта пришла вечером и вроде бы — постаревшая. Молча накрыла на стол, молча взялась за ложку и вдруг

заплакала, уткнувшись лицом в полотенце, которое дома всегда лежало на ее плече.

Артур Карлович несколько секунд удивленно смотрел на нее, потом стукнул ложкой по столу и сказал:

— Не ко времени слезы, жена. За столом сидим.

Марта отняла полотенце от заплаканного лица и посыпала скороговоркой, а что — Фридрих не понимал. В ее речи он уловил лишь одно знакомое слово, повторенное несколько раз, — бефель, что по-немецки значит приказ.

— Она говорит, в Вильнюсе объявлен приказ, которым запрещается оказывать помощь евреям, комиссарам и всем прочим, кто не имеет аусвейса — временного паспорта, что ли... И еще она говорит, мой брат нарушил этот приказ и расстрелян, — дрожали сильные пальцы Артура Карловича, когда он разминал сигарету, а голос, как всегда, был ровным.

— Что ж, я сегодня же уйду... Сейчас уйду, — заторопился Фридрих, вставая.

— Ешь... Хлеб не воруй, а бери, — сказал Артур Карлович.

Фридрих послушно взялся за ложку, стал есть, чтобы не огорчать еще больше человека, которому сейчас и так тяжело.

Он ел один. Марта сидела за столом, изредка всхлипывала, а Артур Карлович сосредоточенно смотрел на свои большие руки, лежавшие на столе.

— Наш сын Иоганн ушел с советскими. Он комсомолец, — неожиданно сказал Артур Карлович. — Он принял ваши законы.

Только сейчас Фридрих понял, какая страшная борьба все время шла в душе этого молчаливого человека, как тяжела она была для него. Ведь враждующими сторонами в ней были он сам со своими устоявшимися

взглядами на жизнь, и его единственный сын, для которого и строился этот хуторок, для которого и сколачивалось это крепкое хозяйство. Обливаясь потом, родители выкорчевывали серые многопудовые валуны из морга купленной земли — очищали землю для сына, чтобы ему жилось легче, чем им. А он, сын, отказался от всего этого, пошел своей дорогой. Кто же прав? Советские, которые указали сыну дорогу, отличную от пути предков, или он, бывший батрак, выбившийся в самостоятельные хозяева? Вот вопрос, терзавший Артура Карловича. Нет, Артур Карлович не отступил от своих взглядов, но не отмахнулся и от убеждений сына, старался понять его. Поэтому еще при первом знакомстве расспрашивал про колхозы и бога, то есть искал ответ на те вопросы, из-за которых чаще всего спорили с сыном.

Тихонько всхлипывала Марта, убирая со стола. За окном глухо шумел лес, растревоженный ветром с моря. Чуть повизгивала собака, которую не накормили в привычное для нее время.

— Что ж, я сегодня уйду,— снова сказал Фридрих.

— Так будет лучше для тебя,— согласился Артур Карлович и пояснил: — Среди наших есть и мерзавцы. Они свяжут воедино брата и то, что Иоганн ушел с вашими, и тогда обыска не миновать.

Фридрих согласен с Артуром Карловичем, но уходить в неизвестность все же не хотелось. Что ждет впереди? Ясно одно: и голод, и холод, и смертельная опасность — все это будет.

— Так я пойду,— повторил Фридрих, но с места не тронулся.

Марта сказала что-то, Артур Карлович перевел:

— Утром проводим.

Странно, что Фридрих в эту ночь спал спокойно, так спокойно, как бывало только в детстве. И проснулся бо-

дрым. Умывшись у колодца, вошел в дом. За накрытым столом, будто и не спали они вовсе, уже сидели Артур Карлович и Марта. И еще заметил Фридрих тугой мешок с ляжками. Он лежал на лавке у самой двери. На нем — меховая безрукавка и брезентовый плащ.

Поели быстро и молча. Лишь после этого Артур Карлович нерешительно попросил:

— Она хочет благословить тебя. Если можешь, встань на колени.

Взволнованно, почти с мольбой сказал это Артур Карлович. Его волнение передалось Фридриху и он поспешно и неуклюже спустился перед Мартой на колени. Она невесомо положила свои теплые руки ему на затылок и зашептала что-то. Голос ее прерывался от сдерживаемых всхлипываний.

Молитва Марты была короткой.

— Она просила бога, чтобы он позволил тебе дойти до твоей земли,— перевел Артур Карлович.

И вот прощанье закончено. Марта, прямая и строгая, стоит на крыльце. Словно не ее слезы недавно капали на склоненную голову Фридриха.

— Подожди за калиткой,— говорит Артур Карлович и спешит к коровнику.

Фридрих, потрепав по загривку цепного пса, с которым сдружился за эти дни, идет со двора, плотно прикрывает за собой калитку. И ждет. Он не оглядывается: чувствует, что Марта еле сдерживает крик, раздирающий ее грудь. Он боится этого крика, вот и уходит с глаз.

Артур Карлович, выйдя за ворота усадьбы, достает из-под полы пиджака продолговатый сверток и протягивает Фридриху:

— Бери, пригодится.

В белую тряпицу завернут родной автомат. Он поблескивает смазкой. И два полных диска к нему!

— Спасибо...

— Ладно, иди.

Шумят над головой вершины деревьев. Небо хмурится, скоро пойдет дождь. Но Фридриху он теперь не страшен: поверх пиджака на нем меховая безрукавка и брезентовый плащ. Но главная радость — автомат. Он висит на груди. На нем лежат руки.

Фридрих бодро зашагал по лесу, как великую радость жизни принимая и пересвист птиц, собирающихся в стаи, гневное пофыркивание ежа, который, укутавшись в опавшие листья, спешил к своему жилищу и вдруг выкатился прямо под ноги человека.

Все это сама жизнь. Та самая жизнь, которой немцы чуть не лишили его. Ведь еще недавно он даже самую обыкновенную траву видел только сквозь колючую проволоку, а сейчас он, бывший пленный номер 5248, свободно шагает по земле. Он — ее полновластный хозяин. Всего, что есть на земле, хозяин!

Он осторожно перешагнул через ежа, и пичугу даже голосом не потревожил. Он был слишком рад жизни, чтобы омрачать ее кому-то. Кроме немцев, конечно. Этим он сейчас ненавидел еще более люто, чем в лагере. Он о многом передумал на хуторе Артура Карловича. О прошлом, настоящем и будущем. Именно на хуторе он окончательно понял, что не убеги он из лагеря, вся его жизнь осталась бы в прошлом. Ему только и осталось бы что вспоминать былую свободу. Как тому дяде Тому, о котором читал еще школьником. Только пожелай Журавль, и не Ковалок, а он, Фридрих Сазонов, гнил бы сейчас в обвалившемся окопе.

И вдруг чуткое ухо уловило будто бы взрыв человеческого смеха. Он моментально изготовил автомат к стрельбе и замер, прислушиваясь.

Лишь пересвистывались птицы. Лишь слабо шелестели листья, уцелевшие на вершинах деревьев.

И все-таки кто-то смеялся! А кто может гоготать сейчас? Только немец! Фридрих, крадучись, пошел в ту сторону, где, как ему показалось, смеялся человек. Шел старательно обходя сухие валежины, замирая время от времени. Наконец снова донесся смех человека, крайне довольного жизнью. Теперь исчезли последние сомнения: так могли смеяться только немцы! И Фридрих чуть не побежал на голоса — так велика была ненависть. Но он пересилил себя и, чтобы окончательно успокоиться, даже прижался лбом к холодному и гладкому стволу ольхи, сосчитал до ста. Намеревался считать до трехсот, но смог только до сотни. И снова пошел вперед, туда, где звучал смех.

Немцев было двое. Расстелив на сырой земле какой-то полог, они беспечно лежали на нем. Рядом валялась пустая бутылка. Два велосипеда скучали, облокотившись рамами на тонкие осинки.

Один из немцев показывал другому фотографии. Тот, рассматривая их, чмокал губами, будто во рту у него было что-то очень сладкое, и временами трясся от визгливого хохота.

Фридрих зашел так, чтобы оба немца враз попали на мушку автомата, для большей верности прицела положил ствол на ветку дерева и дал короткую очередь.

Взмыла в небо стайка пестрых щеглов, истошно завопила сорока и метнулась с ветки, на которой сидела до выстрелов, а немцы уткнулись лицами в фотографии.

Выждав немного, Фридрих подошел к немцам, все время держа их на прицеле. Но стрелять вторично не пришлось: пули легли кучно. Струйка темной крови из головы одного немца стекала к ногам голой женщины, улыбавшейся с фотографии. Фридрих только и запом-

нил, что тело у нее было белое-белое. И еще черные чулки почти до самого верха ноги.

— Орднунг! — сказал Фридрих, перевернув немцев на спину, и заглянув в их глаза, налившиеся мутью.

Сломав велосипеды и расшвыряв по лесу имущество убитых врагов, увидел автоматы. Вороненые и с кривыми магазинами, они висели на дереве, что стояло у самой дороги. Фридрих взял один из них, осмотрел. Автомат будто прилипал к рукам, так удобны были рукоятка и магазин. И магазины не круглые, неудобные для носки, как наши, а плоские, изогнутые; сами за голенища сапог просятся

Магазины от немецких автоматов Фридрих засунул в заплечный мешок. И один из автоматов взял: он удобнее да и патроны к нему найти легче.

Свой и второй немецкий автоматы разбил о ствол дерева. Еще раз посмотрел на тела немцев и сказал:

— Орднунг, двумя меньше.

Сказал зло и опять зашагал на восток. Он чувствовал себя невероятно сильным, никого и ничего не боялся.



ОДИН ДЕНЬ БЛОКАДЫ

1.

У каждого человека есть мечта. Большая или маленькая, на всю жизнь или только на ближайшее время, но есть; без нее мертв человек.

Была мечта и у Ивана Белоградова. Самая чело-

веческая мечта: посмотреть Ленинград, хоть разочек пройтись по тем самым улицам, где хаживал Ленин.

Она, эта мечта, зрела подспудно, когда он еще учился в школе, была робкой и почти сказочно несбыточной: от сибирской деревни Тишайшая, где он жил тогда, до Ленинграда не одна тысяча верст, билет-то, поди, на такое расстояние столько стоит, что семье простого колхозника всю жизнь копить и не накопить.

И вдруг в 1940 году Ивана призвали в армию, для прохождения службы направили в Прибалтийский военный округ. Иван прекрасно понимал, что Прибалтика — еще не Ленинград, но мечта сразу осмелела, стала все чаще и чаще задавать один неизменный вопрос: скоро ли?

Теперь он верил, что она обязательно сбудется и не цыкал на нее.

Когда началась война, Иван служил под Таллином. Оттуда и отступал с боями. Так долго отступал, что однажды, глянув на восток и увидев горящий золотом купол Исаакиевского собора, охнул от ужаса: до самого Ленинграда немца за собой довел!

Но это был особый ужас, не тот, от которого тают кости ног, а совсем другой. Вместе с ним будто силы добавилось, а уж злости — это точно. Злости на фрицев за то, что до самого Ленинграда дотопали и теперь без биноклей его видят, и бомбят, и обстреливают нещадно; на себя, — что допустил такое.

Не один Иван Белогрудов, а все солдаты, оборонявшие город, пусть по-разному, но думали об одном, и будто увязли ноги немцев в земле пригородов Ленинграда, и фронт «стабилизировался», как сказал командир батареи.

По-научному, может, и так, но Иван Белогрудов считал, что немцы просто с пупа сдернули.

В октябре сорок первого впервые увидел он купол Исаакия, а сейчас уже февраль сорок второго. Почти треть года прошла, а он так и не побывал в городе: сначала бои мешали, жестокие, кровавые, потом — блокада силу набрала.

Это ж надо додуматься до такого, чтобы огромный город, где народу побольше, чем в ином государстве, обречь на голодную смерть. Не только солдат, что его обороняли, не только мужиков вообще, но и женщин, детишек малых!

Вот и замкнули немцы кольцо блокады вокруг города, вот и бомбят его нещадно, вот и обстреливают из пушек. Не военные объекты бомбят и обстреливают, а дома, где люди еще живы.

По самым различным делам службы не раз бывал Иван Белогрудов в городе. Не в центре, куда с детства влекло, а здесь, на западной окраине, поблизости от родной батареи, которая за последние месяцы стала зенитно-танковой. И его уже не удивишь ни трамваем, что, занесенный снегом, стоит на перекрестке улиц, ни обледеневшими сугробами почти у каждого дома.

И к трупам он привык. К трупам не на передовой, а здесь, на улицах города: голод, он ведь косит, где придется. Вот и получается, что люди, не зная о своем смертном часе, пойдут за водой или хлебом, а смерть их и подкараулит.

У живых нет сил убирать мертвых: сто двадцать пять граммов хлеба — весь паек; с него в любом человеке жизнь только теплится.

Привык Иван Белогрудов к трупам на улицах города и поэтому равнодушно прошел мимо женщины, сидевшей у стены; посчитал ее мертвой. Даже не взглянул, молода она или уже в годах. Прошел лишь, покосившись на ее вздыбленную грудь. До того вздыбленную,

что подумалось, а не подушку ли она туда для тепла сунула?

Шага на два или три отошел от трупа женщины и вдруг услышал то ли вскрик, то ли всхлип. Очень слабый, еле различимый.

Может быть, и не умерла та женщина вовсе? Может быть, оставили ее силы, может, она крикнуть толком не способна, но еще жива?

Мелькнула эта догадка, и солдат Иван Белогрудов вернулся к женщине, для верности коснулся рукой ее лица. Оно было уже каменным и холодным, как все вокруг.

Тогда он, боясь своей догадки, осторожно засунул руку под байковое одеяло, что окутывало грудь женщины.

Так и есть, ребенок! Он, несмышлениш, и пищал, требуя материнскую грудь. Пусть пустую, пусть иссохшую от голода, но только ее. Пищал слабо, еле слышно, однако Ивану почудились в его писке и властные нотки. Почудились — и он не удивился, он даже обрадовался им: в Тишайшей все считали, что дите — главное в семье, оно — продолжение рода человеческого, и чем настойчивее оно о себе напоминает, тем крепче по жизни шагать будет.

Нежность нахлынула на Ивана, он осторожно, будто братишку или сестренку, взял малыша с окоченевшей груди матери, укутал в одеяло, которое бесцеремонно сдернул с нее, прижал к груди неумело, но надежно, как раньше нашивал дрова, и вдруг остановился в полной растерянности: а теперь что делать с этой находкой?

Ночь только легла на землю. Тихая, зимняя ночь, каких уже и еще будет много. Щербатая луна равнодушно смотрела меж туч на израненный город, и от громад

домов на заснеженную улицу легли густые тени. Ни одного человека не видно. Ни один огонек не мерцает в темных глазницах окон. Будто только и есть здесь живых — солдат Иван Белогрудов и его находка.

Или это кажется Ивану, но малышка все требовательнее, из последних сил пищит.

И тогда солдат Иван Белогрудов решительно поворачивает к родной батарее: там товарищи-друзи, там командир с комиссаром, они наверняка помогут. И Ивану, и человеку, который в такое тяжкое время начал жизнь.

2.

Только войдя в землянку и осторожно положив на стол свою находку, Иван почувствовал, как затекли руки от этой легкой и очень дорогой ноши.

— Вот, значит, принес,— только и сказал он, вытирая рукавом шинели пот, выступивший на лбу.

— А разрешите узнать, товарищ Белогрудов, что вы принесли? Если барахло какое, мы этим не занимаемся. Может, у вас в одеяле заблудившийся поросенок? Хотя я, между прочим, согласен даже на бобика,— как всегда балагуря, зачастил Прохор Сгиньбеда, лениво и вразвалку подходя к столу.

Но Иван не принял шутку, сказал сурово:

— Дите у меня.

Так сказал, что Прохор сразу посерьезнел, а товарищи повставали с нар, сгрудились вокруг стола.

Несколько секунд только и было слышно, как потрескивал фитиль в гильзе снаряда, а потом Данилыч — старшина батареи — усомнился:

— А живое оно у тебя? Голоса-то не слышать.

В это время из одеяла раздался тот самый писк, который так взволновал Ивана там, на безлюдной улице.

И сразу ослабился в улыбке Прохор, тепло и радостно заговорили другие, а Данилыч приказал никому:

— Печку. И живо!

Будто на землянку враз пикировали сто «лапотников», так стремительно вылетели из нее все. Кроме Ивана Белогрудова. В нем зарождалось какое-то неизвестное ему ранее чувство, которое остановило его около стола и заставило ревниво следить за желтыми от махорки пальцами старшины. Они, эти пальцы, сейчас осторожно разбирались в складках байкового одеяла.

Наконец показалось и личико ребенка. Оно было маленькое, казалось, с кулак, не больше. И все изрезанное морщинами.

— Парень,— ворчливо, но с удовольствием сказал старшина.— Ишь, как брови свел? Девки, они так не могут.

Иван не осмелился спорить: это первый ребенок, которого ему на руках держать довелось.

А Данилыч уже деловито засеменял в свой угол, грозно предупредив Ивана:

— Приглядывай за ним. Чтобы не скатился.

Малыш и не думал катиться. Он только пищал, кривя беззубый ротик.

Да и смог ли бы он скатиться, этот будущий человек, который со дня рождения, похоже, еще не едал досыта?

Данилыч вернулся к столу с кусочком хлеба. С маленьким кусочком хлеба, который, скорее всего, берег на ужин.

Искрошив хлеб в кружку с теплой водой, он достал из кармана чистую тряпицу, сдул с нее табачные крошки.

— Сейчас мы тебя накормим, орлик, потерпи малость... И брось ты эту бабью привычку реветь. Мужику материться положено. Хотя, рано тебе и это,— ворчал

он, собирая в тряпицу намокший хлеб.— Вот «ненька» и готова,— закончил он, сунув в рот мальчонки тряпицу с хлебом.

Писк мгновенно оборвался. Мальчонка так яростно сосал тряпицу, что щеки его напоминали втянутые внутрь воронки.

Иван посмотрел на Данилыча. Тот понял его и ответил до страшного спокойно:

— Изголодался.

А дверь землянки хлопает, хлопает. Это возвращаются товарищи. С топливом в городе очень плохо, грабеж брошенных квартир запрещен, но сейчас каждый несет что-то. А Прохор приволок почти метровый огрызок телеграфного столба.

— Ты уж, Данилыч, когда получишь, отдай из нашего пайка прожектористам осьминку махорки,— только и сказал он.

И Данилыч, тот самый Данилыч, который за малую крупицу батарейного добра, казалось, был готов удавиться, сегодня смолчал. Будто не расслышал слов Прохора. Но и тот, и другие по лицу Данилыча поняли, что махра будет обязательно отдана прожектористам.

Железная печурка раскалилась быстро, уже розовеют ее бока и по землянке плывет банное тепло. Сейчас бы только нежиться в такой благодати, но все толпятся у стола, смотрят на маленького человечка, вцепившегося в тряпицу с хлебом беззубыми деснами. И молчат.

О чем они думают? Иван, например, о том, что прикажи ему сейчас кто-то руку или ногу отдать, чтобы жил малыш — он не задумываясь лег бы под топор.

И вдруг Прохор метнулся к дверям, бросил с порога:
— К Зинке-прачке сбегая, она грудастая.

Зинку-прачку знали все. Пристав к батарее где-то под Копорьем, она вместе с ней дошла до сегодняшних по-

зиций, и даже поселилась поблизости. Баба она была смазливая, разбитная, и так умело использовала свои достоинства, что даже в блокаде, похоже, особого голода не испытывала. Во всяком случае, ходила грудью вперед.

Но все это — предположения, догадки: со своими батарейцами она сохранила прежние только товарищеские отношения, окончательно превратившись для них в Зинку-прачку.

К ней и побежал Прохор. Никто его не остановил окриком, почему-то никто не спросил, зачем ее тащить сюда. Все ухватили главное из слов Прохора: еще один человек придет сюда, чтобы помочь малышу.

А малыш, зажмурив глаза, без усталости трудится над тряпицей.

— Слышь, старшина, ты дай мне завтрашнюю пайку,— просит Иван, впервые обратившись к Данилычу на «ты». И тот не осаживает его. Будто какие-то родственные нити возникли и окрепли между ними за те минуты, когда они только вдвоем стояли над ребенком.

— Ему и этого хватит,— помолчав, отвечает старшина.

А в землянке уже полно солдат. Бог его знает как, но о мальчонке уже узнали многие, пришли даже командир с комиссаром. Они, как и другие, только взглянули на малыша и отошли к нарам, уселись там, молчат.

Малыш вытолкнул языком «неньку» и заплакал. Как показалось Ивану, заплакал резвее, чем раньше. Это обрадовало.

— В таком возрасте у мальцов запросто канализация течь дает,— доверительно пояснил Данилыч, распеленывая мальчика.— Так оно и есть! — радостно сообщил он немного погодя.

— Слышь, Данилыч, а во что мы его пленять-то бу-

дём? — забеспокоился Иван, всё время стоявший у стола.

— У меня портянки лишние есть,— с готовностью отозвался кто-то.

— Скажешь тоже, дите и в портянки! — возмутился другой.

— Да они у меня новехонькие, ни разу не одеванные.

— Тогда другое дело. А то — портянки...

В землянку вваливается Прохор и еще с порога радостно покрикивает:

— Расступись, народ! Скорая помощь пришла!

Все до невозможности вжимаются друг в друга, освобождая Зинке-прачке проход к столу, где пищит малыш. Но она, скинув форсистую шубейку кому-то на руки, сначала подходит к розовой печурке и простирает над ней свои красные руки. Зинка-прачка даже не взглянула в сторону ребенка. Почему? Может, боялась, что, увидев его, забудет сначала обогреться?

Наконец она подходит к столу и вот ребенок уже окончательно распеленат. Но он не сучит ножками. Не тянет кулачки в рот. У него нет для этого сил.

Красные руки Зинки-прачки необычайно ловко и нежно пеленают мальчонку в солдатскую портянку. Они успели даже осторожно похлопать его по тощим ягодицам.

Малыш то ли от усталости, то ли от ласки Зинкиных рук, вдруг замолкает и впервые открывает глазенки.

А Зинка уже единолично командует в землянке:

— Эй, борода, а ну, марш отсюда со своей самокруткой!

— Да я в печку...

— Кому сказано?

«Борода» тушит недокуренную сигарку, прячет ее за козырек шапки.

— А ты, Проша, лети в мои хоромы. Там под кроватью чемоданчик. Тащи его сюда.

— Я, Зинуша, мигом слетаю,— стелется ей под ноги Прохор. Только ты его накорми, накорми... Если стесняешься, то мужики выйдут. Мы ведь тоже с понятием.

Только теперь Иван понимает, почему Прохор бегал за Зинкой-прачкой, понял и с надеждой смотрит на ее высокую грудь.

Но Зинка не расстегивает на груди кофточку, а будто подрубленная садится на нары и тихонько воет, как по покойнику, закрыв лицо руками. Сквозь ее всхлипывания прорываются слова, и из них Иван понимает, что все мужики — глупее некуда: им невдомек, что ребенку не грудь, а молоко нужно; а разве все время баба его имеет?

Под эти причитания Прохор выскальзывает из землянки. Он бежит и от недобрых взглядов товарищей, и от Зинкиного плача, в котором звучит бабья злость на свою беспомощность.

Оборвались всхлипывания внезапно. Зинка просто вдруг встала, даже не смахнула слезу, повисшую на подбородке, осмотрелась и сказала тоном приказа:

— Вот здесь я с ним и лягу.

Не бывало еще такого, чтобы женщина ночевала в солдатской землянке, но ни комиссар, ни командир батареи не возразили Зинке, молча согласились на столь грубое нарушение устава.

Потом, это ведь всего на одну ночь...

Едва Прохор принес чемодан, как Зинка-прачка достала из него чистую простыню, одну половину ее немедленно распластала на пеленки, а вторую постелила на нары. Еще через несколько минут она уже улеглась

на облюбованном месте, прижимая к себе малыша, который опять жадно сосал «неньку».

От ласково улыбающейся Зинки и малыша, тихонько посапывающего на чистой простыне, казалось, исходило почти забытое домашнее тепло, тепло далекого детства, и все притихли, боясь неосторожным словом или движением враз разрушить сегодняшнее счастье.

— Что дальше делать будем, товарищи? — спрашивает комиссар. Он бородат и поэтому кажется старше своих тридцати лет. — Парнишке молоко и прочее надо, а мы что имеем?.. Как бы не сгубить нам его.

Об этом же тайком уже успел подумать каждый, и солдаты молчат. Даже Зинка, на которую с надеждой смотрит Иван, лишь тяжело вздыхает.

За всех ответил Данилыч:

— Но дите без помощи бросить — это мне совесть не позволяет.

Вздых шелестит по землянке. В нем и одобрение, и тревога за малыша.

— Я, старшина, любого уважать перестану, если только подумает такое, — по-прежнему спокойно говорит комиссар. — Мы с командиром считаем, что завтра утречком или днем, когда ни обстрела, ни бомбежки не будет, парнишку нужно отнести в детский приемник. Там ему лучше будет... А мы с вами... Мы же солдаты?

Посидев еще немного, командир и комиссар встают, у самых дверей надевают шапки, застегивают крючки полушубков.

— Дежурную смену, старшина, направь к орудиям. Вот-вот летать начнут, — говорит командир батареи.

Солдаты быстро и бесшумно собираются. Вместе со всеми — и Иван Белогрудов. К нему подходит Прохор Сгиньбеда и говорит, глядя на старшину:

— Ты с ним сиди, я за тебя отстою.

Но Иван Белогрудов сейчас никак не может оставаться в землянке, ему чудится, что задержись он здесь — обязательно проворонят что-то у пушек, и он отвечает: — Не, я сам.

Прохор не спорит. Только протягивает рукавицы на меху. Те самые, которые на хлеб выменял.

3.

Разбушевалась метелица, зверем лютым бросается на угрюмые дома, на одинокого прохожего, так и норovit швырнуть его в сугроб и сразу же понадежнее укутать саваном.

Ту женщину, которая еще вчера была матерью, сегодня от людских глаз спрятал сугроб. Лишь из его основания чуть видны ее ноги. Не в валенках, как вчера, а в тонких нитяных чулках.

— Ой, так бы и взвыла на луну, как та собака,— вырывается у Зинки.

Она шагает рядом с Иваном Белогрудовым. Шагает из детского приемника, куда отнесли мальчонку.

Некоторое время опять шли молча.

Но на перекрестке улиц Зинка-прачка остановилась и сказала:

— Здесь, второй дом от угла, гад живет, богатеет на народной беде. У него всегда водка есть. Зайдем?

— Чем платить-то? У меня окромя запасной обоймы капиталу нету.

— Я зову, мне и расплачиваться,— горько усмехнулась Зинка-прачка.— Так пойдешь или нет?

Хотелось утопить обиду в вине, ой как хотелось, но он отрицательно помотал головой. Сам не знал почему, отказался от выпивки.

Зинка-прачка одна свернула в улицу, одну Зинку-прачку проглотила черная арка ворот.

А Иван Белогрудов пошел на батарею. Лицо у него было не столько хмурое, сколько растерянное, недоумевающее. словно силился он что-то понять и не мог. Товарищи не уловили этого оттенка, но сразу почувствовали, что случилось что-то, если и не страшное, то уж неприятное для всех — это точно.

Железная печурка, у которой вчера вечер и ночь розовели бока, сегодня холодна и в утробе ее стонет, плачется на свою судьбу ветер.

Холодно. Тоскливо в землянке.

Данилыч осторожно присел в ногах Ивана Белогрудова, который, войдя в землянку, сразу лег на нары и притих там.

— Приемник-то нашли? — спрашивает Данилыч.

— А куда он денется? Нашли,— как из гроба, отвечает Иван.

— Ну, как там?

Вопрос задан словно между прочим, но и за обыденными словами, и за скучающим тоном — большое беспокойство о мальчонке: что сказал врач, когда осмотрел его? Выживет ли после такой голодухи? Когда и куда его теперь направить думают?

Все эти вопросы уловил Иван, но ответил вовсе не то, чего от него ждали:

— Февраль он.

До тошноты противно воеет ветер в трубе печурки. И еще слышно, как скрипит снег под чьими-то торопливыми шагами; кто-то спускается в землянку.

Это старшина прожектористов. Потирая руки над холодной печуркой, он игриво начинает:

— Ежели за осьминку, то мы согласны еще дровишек подкинуть.

Данилыч, не глядя ни на кого, лезет в свой угол и немного погодя оттуда в старшину прожектористов ле-

тит осьминка махорки; она ударяется ему в грудь, он немного растерянно и в то же время — ловко ловит ее и удивляется:

— Он у вас еще вчера или только сегодня взбесился?

И недавняя тревога, которую породило непонятное поведение Ивана Белогрудова, нашла выход: все закричали разом, закричали, что прожектористы — шкуры, что таких сволочей, как они, немедленно расстреливать надо. Без суда и следствия расстреливать: дите замерзло, настоящие люди для него жизнь свою отдали бы, а прожектористы — трухлявое полено за осьминку махры продали! И кому?!

Прохор Сгиньбеда до того разъярился, что схватил старшину прожектористов за шиворот и попытался вытолкнуть за дверь. Но тот был силен да еще разозлился и поэтому, отшвырнув Прохора, заорал во всю мочь:

— Ша, побесновались и хватит! Орать — это любой дурак может, а толком сказать — не всякому дано!

Потом, заметив несколько щепочек, он сунул их в печурку, кресалом высек огонь, и печурка сразу радостно заурчала. Красноватые языки пламени весело заскакали с одной щепочки на другую, порой — сталкивались, и дальше неслись уже вместе, разрастаясь и наливаясь силой.

— Табак нам вовсе без надобности, сами на такой же норме сидим. А что таитесь от товарищей — пусть на вашу совесть ляжет, — и старшина прожектористов положил осьминку на стол, на то самое место, где вчера пищал мальчонка.

Тепло быстро расплзается от печурки, весело гудящее пламя действует успокаивающе, и солдаты-зенитчики уже начали понимать, что погорячились, наговорили много несправедливого и даже глупого. Осознают это,

но еще не на столько, чтобы признаться в ошибке, вот Данилыч и возобновляет разговор с Иваном Белогрудовым:

— Растолкуй, февраль-то к чему?

— А его так называли.

— Кого, его?

— Мальчонку... Так и записали в книге: Февраль Иванович Зенитчиков.

Недоуменная тишина повисла в землянке, повисла тяжелой грозовой тучей, которая обязательно ударит во что-то своими молниями.

— Февраль?.. Зенитчиков? — переспросил Данилыч, наливаясь злобой.— Христианского-то имени не вспомнили?

— Гады бездушные!

— Душа у них там заледенела, вот и изголяются над дитем!

— А ты, сука, куда смотрел? — ревела землянка.

И все заглушая, все подминая под себя:

— Комиссара! Комиссара сюда!! Комиссара!!!

За комиссаром сбегал Прохор.

Комиссар подсел к печурке. Просто пришел и сел у печурки, которая начала уже остывать.

Постепенно стихли самые горластые. Тогда он спросил:

— А ты, Белогрудов, не спросил, почему его так называли?

— Да у меня, товарищ политрук, язык онемел от такого зверства!

— Язык онемел от такого зверства... А мы с командиром еще вчера знали, что его так назовут... Кто даст табачку?

Несколько кисетов протянули ему, а он взял осьминку со стола:

— А это чья?

— А это чья?

— Да ваша, зенитчиков,— поспешно заявил старшина прожектористов.

Прикурив от уголька, комиссар продолжил спокойно, но с большой внутренней болью, которую не смог скрыть:

— Много сейчас ребят поступает в приемники. Таких, что и говорить не умеют... А вдруг их потом родители или родственники разыскивать будут? Хоть какая-то примета должна быть у ребенка? Чтобы потом розыск вести? Вот и называют их Январями и Январинами, Февралями и Февралинами... А фамилию — по тому, кто нашел: Саперов, Прохожев, Зенитчиков... Февраль Иванович Зенитчиков... Так как решим, бездушье это или крайняя необходимость?

Тихо в землянке. Нет слов, чтобы выразить думы: ведь, выходит, война не только жизнь и счастье отнимает, не только крадет детство у малышей, но даже имени, простого человеческого имени их лишает!

Сколько она уже этих Январей и Январин, Февралей и Февралин породила? А сколько еще породит?

Что ж, со временем ребенок повзрослеет, самостоятельно зашагает по жизни и, может быть, даже имя сменит.

Но разве все это хоть в какой-то мере возместит то, чего его лишили вороги? Да никогда!

— А ведь на поясной бляхе у них «Бог с нами!» выбито,— проворчал Данилыч, достал из кобуры пистолет и стал чистить его. Медленно, очень старательно чистить. Рядом с ним разбирал винтовку Иван Белогрудов, дальше — другие солдаты.

Лишь комиссар по-прежнему сидел у печурки, да Прохор недоуменно смотрел на товарищей.

— И с чего вы за личные пушки взялись? — наконец спросил он.

— А ты все еще не понял? — огрызнулся старшина прожектористов.— Разрешите идти, товарищ комиссар?



ЗЛЫДЕНЬ

1.

Серая туча дыма нависла над Сталинградом. И хотя небо безоблачно, солнца не видят ни жители, ни защитники города. Оно бессильно, оно не может пробиться сквозь клубы серого, едкого дыма. Только фашистские самолеты рвут эту клубя-

щуюся пелену. Третьи сутки немцы штурмуют и бомбят Сталинград. Вот и сейчас десять пикировщиков неожиданно выныривают из тучи дыма, падают почти до самых крыш домов и швыряют бомбы. Мгновенно вздымаются к небу косматые столбы земли, щебня, а немного погодя до катера-тральщика докатываются приглушенные расстоянием раскаты взрыва.

Командиру катера-тральщика мичману Никитенко все это уже знакомо: третьи сутки мичман на своем катере вывозит из города жителей и раненых солдат, а сюда доставляет снаряды, мины, патроны, продовольствие. Сейчас палуба катера завалена ящиками с минами. Никитенко знает, что достаточно одному осколку ударить в мину — и исчезнет катер, разнесет его вдребезги. Знает — и все-таки идет. Идет потому, что не может

иначе: в городе насмерть стоят товарищи, это на помощь к ним спешит катер.

Если же говорить откровенно, то и страха особого нет. Притупилось сейчас это чувство, ушло куда-то вглубь, уступив место усталости, которая одурманивает. Разве не она сейчас закрывает глаза рулевому? Стоит он у штурвала, минуты две таращит глаза и вдруг опускает веки. Тотчас голова начинает клониться на грудь. Кажется, вот-вот грохнется на палубу рулевой Загитуллин, но Никитенко, который стоит рядом, не будит его: через несколько секунд рулевой соберется с силами, опять прогонит сон, опять выправит катер и опять... уснет на минуту.

Не один Загитуллин из последних сил борется со сном. Вся команда катера так же устала. А моториста Петухова вчера пять раз вытаскивали из машинного отсека. Отлежится на свежем воздухе, обольют его водой — и опять лезет к мотору.

Но главное, в чем мичман Никитенко не хочет признаться даже себе,— он боится, что, возможно, еще не скоро удастся выспаться измученной команде катера. Ведь не случайно командир отряда, посылая его сейчас в Сталинград, сказал, глядя не в глаза, как обычно, а на верхнюю пуговицу кителя:

— Идите туда, где речной вокзал был. Там майор встретит, даст задание.

Ох, тяжелая предстоит работа, раз лейтенант приказ отдает, а в глаза не смотрит...

Ну, да ничего не ново, ничем не удивишь матросов: дрались они с немцами еще под Одессой, оттуда всей командой и пришли на этот катер, чтобы охранять Волгу.

— Левый борт, курсовой двадцать, «юнкерсы»,— доложил хриплым от усталости голосом пулеметчик Карпов.

Он сказал это тем спокойным тоном, каким обычно говорят донельзя несчастливые люди, извещая о новой неотвратимой беде. Сказал спокойно, а Загитуллин сразу проснулся, скользнул по небу черными глазками-щелками и тотчас устремил их на воду.

Никитенко вышел из рубки и осмотрелся. Катер плыл уже мимо нефтебазы. Разорванные баки, черные от копоти, уныло торчали на берегу. Еще вчера здесь бушевала огненная река, а сейчас только копоть на баках да черная опаленная земля напоминали об этом.

— Пикируют на Дворец физкультуры,— опять бесстрастно доложил Карпов. Маленький, узкоплечий, он кажется нежным и даже хрупким. Но Никитенко знает, что если будет нужно, Карпов не опустит рук и выполнит любой приказ. Не силой, грубой физической силой, а упрямством, волей своей возьмет этот матрос. Беспредельна она у него.

Мимо пустынного, мертвого берега идет катер. Еще три дня назад стояли здесь пароходы, дебаркадеры, по набережной гуляли люди, а сейчас — никого и ничего. Страшная пустыня, где на каждом шагу смерть и разрушение. Даже вода в Волге за эти дни стала другой. Вся в нефтяных и мазутных островках.

Наконец показались и маленькие мостки, сделанные на том месте, где недавно стоял речной вокзал. На них маячил человек. Плащ-палатка была накинута на его плечи. Человек махал катеру рукой.

Едва катер коснулся бортом мостков, человек прыгнул на его палубу и спросил:

— В мое распоряжение?

Никитенко разглядел две шпалы на петлицах гимнастерки и кивнул. Разумеется, он обязан был доложить о прибытии катера в распоряжение майора, майор был обязан потребовать этого уставного доклада, но оба они

так измотаны бессоницей, что даже не подумали об этом.

— Тогда выгружайте, что привезли,— сказал майор, присел на крышу кубрика, навалился плечом на стенку рубки — и захрапел.

Никитенко уже который раз за месяцы войны подумал: «И до чего интересно получается: стрельба кругом, бомбы, снаряды рядом рвутся, а человек спит себе, словно на перине».

Кажется, только пристал катер к мосткам, а вокруг него уже толпятся солдаты, протягивают руки к ящикам с минами. Еще несколько минут — и чиста стала палуба катера, снова поблескивала смазка на стыках железных листов настила.

Никитенко привычно осмотрел катер, подошел к спящему майору, положил руку ему на плечо и тихо сказал: — Полностью разгрузился.

Майор с усилием приподнял воспаленные и припухшие веки, недоуменно посмотрел на мичмана.

— Разгрузились мы. Теперь куда? — устало спросил Никитенко.

Глядя на разморенного сном майора, мичман вдруг почувствовал, что и сам смертельно хочет спать, что еще минута — и ляжет прямо на палубу.

Майор, видимо, все еще не мог понять, где он, чего от него хотят, и недоуменно тарашил сонные глаза на катер, на мичмана. И тут разорвалась бомба. Летчик, целившийся в мостки, промазал, и она, впившись в железнодорожное полотно, взметнула к небу щебень, камни и обломки рельсов. Один такой обломок упал на палубу катера. Майор посмотрел на его зазубренные края — и проснулся.

— Кончили, говоришь? — проворчал он, раскрывая

планшет.— Тогда принимай сейчас людей и крой до Петропавловки. Вот сюда. Дойдешь?

Никитенко молча смотрел на точку, в которую упирался палец майора. «Дойдешь?» — звучало в его ушах. Это зависит от того, нужно ли дойти. Разве можно идти, если и команды-то на катере — всего четыре человека? Трех этой ночью пулеметная очередь срезала... Да и живые уже сейчас стоя спят, а тут еще почти трое суток ходу. И чурки в бункере кот заплакал...

— Ну, чего молчишь? — торопил майор.

Никитенко тяжело вздохнул, завел ремешок фуражки под подбородок и сказал зло, словно отрезал:

— Дойдем.

— Тогда готовься к приему пассажиров, а я мигом, — оживился майор, спрыгнул на берег и побежал к черному провалу, издали заметному в береговом обрыве.

А самолеты все бомбили город. Вот бомба упала в дом. Он словно подпрыгнул, потом осел и рухнул грудой битого кирпича. Над ней повисло облако пыли. В воздухе, будто снежные хлопья, плавали пух и перья. Не один, многие дома так рушатся.

— Глянь, мичман, — должно быть, уже не в первый раз говорил пулеметчик Карпов, дергая Никитенко за рукав кителя.

Никитенко оглянулся. По берегу, заваленному скрюченными рельсами, лавируя между обломков железнодорожных вагонов, шли майор, две женщины и группа детей, одетых одинаково. Шли они торопливо, поглядывая на небо, с которого ежеминутно мог спикировать на них самолет.

— Чего стоите? Помогай! — рывкает мичман, спрыгивает на берег, хватая парнишку, который стоит ближе всех к катеру, и передает его выскочившему из рубки Загитуллину. Тот бережно принимает мальчугана.

Никитенко казалось, что вся погрузка длилась несколько секунд. Однако немецкий летчик уже заметил оживление на берегу: один «юнкерс», перевернувшись через крыло, бросился на катер. Немедленно Карпов вцепился в ручки пулемета — и белая трассирующая лента вспорола небо перед самолетом. Никогда Карпов не бил по самолетам такими длинными очередями, а сегодня — бьет. Однако Никитенко не кричит на него, не приказывает экономить патроны: он понимает, что пулеметчик отпугивает фашиста, испытывает его нервы. Немецкий летчик, конечно, не знает, что в ленте нет ни одной бронебойной пули, он видит только плотную строчку несущихся к нему светлячков и, торопливо хлестнув по катеру из пулемета, рванул самолет к туче дыма. Карпов для страховки бьет ему вдогонку.

— Понимаешь меня, мичман? — спрашивает майор. — Эти ребята — воспитанники детского дома. Их друзей ночью погрузили на катер, да немцы утопили его... Эти все видели... А на том берегу немцы разбомбили железную дорогу. Доставь ребят в Петропавловку. Военный Совет за этим следит. Да слушаешь ты меня или нет?!

Никитенко слышал все, но разговаривать было некогда: едва исчез в туче дыма первый самолет, как на катер бросился второй. Желтобрюхий, с черными крестами «юнкерс» падал на катер, казалось, намереваясь раздавить его своим весом. Навстречу пикировщику с катера теперь тянулись уже две трассы: это Загитуллин схватил ручной пулемет и пришел на помощь Карпову, который опять не жалел патронов.

Никитенко торопливо козырнул майору, шагнул в рубку и крикнул мотористу:

— Полный назад!

Катер дрогнул и отошел от мостков. В это время фашистский летчик дал очередь. Пули прошли фанерную рубку, одна из них обожгла плечо мичмана. Еще мгновение — и самолет, тенью мелькнув над катером, ушел к городу. В рубку вернулся Загитуллин, взялся за штурвал, скупно бросив:

— Атаки отбиты.

Ошибся Загитуллин: вывалившись из-за домов, теперь на катер пикировали два самолета. Никитенко увидел их в тот момент, когда рулевой открывал дверь рубки. Увидел — и сразу ему стало ясно, что еще мгновение — и обрушат летчики свои бомбы на катер. Мичман резко переложил руль на борт и, отшвырнув Загитуллина, метнулся к переговорной трубе.

— Самый полный назад! — крикнул он.

Теперь опять к штурвалу. Но на пути — одна из женщин.

— Товарищ командир, — начала она.

Секунда промедления решала судьбу катера, судьбу детей.

— Марш в кубрик! — заорал мичман.

Женщина с недоумением и испугом посмотрела на перекошенное яростью лицо мичмана, обиженно поджала губы и шагнула на трап, ведущий в кубрик. В это время рядом с катером, у его левого борта, взорвалось пять бомб. Катер положило на борт. Женщина успела заметить желтую волжскую воду, пенящуюся у иллюминаторов, и свалилась на палубу.

Когда катер выравнился, женщина поднялась. На нее с удивлением смотрели испуганные дети. Ей стало до слез обидно и за грубость мичмана, которой она не находила оправдания, и за свое падение.

— Злыдень, — прошептала женщина и уселась рядом с ребятами на матросский рундук.

2.

Город скрылся за поворотом реки. Видна только дымная шапка, нависшая над ним. Спокойная Волга несет катер, кажется, что все страшное позади. Но и сейчас у него три врага. Первый — фашистские самолеты. Они рыскают над Волгой, стараясь найти притаившиеся пароходы, баржи и катера. Нашли — немедленно в крутое пике. А еще через несколько секунд обрушатся на людей бомбы, дробно застучат пулеметы.

Второй враг — магнитные мины, которые лежат где-то в зеленоватой глубине. Может быть, и проскочит катер мимо них, а может быть... Все может быть на войне да еще с таким коварным, хитрым врагом.

И третий враг — желание спать. Давно ли миновали самое опасное место, давно ли отвалился в сторону последний самолет, пытавшийся расстрелять катер, а Загитуллин уже опять еле таращит сонные глаза, опять Карпов смотрит на небо, пьяный от усталости. Только Никитенко крепится. Да и не до сна ему. горит и ноет раненое плечо, а еще больше — болит сердце. Болит оттого, что пятнадцать ребят на катере. Их жизнь доверена ему, Никитенко.

Никитенко, чуть поморщившись, снял китель и осмотрел рану.

— Заживет,— сказал Загитуллин, протягивая индивидуальный пакет.

Мичман согласен с ним (и не такие раны царапинами называли), перебинтовывает плечо и спускается в кубрик, где сидели ребята. И едва он ступил на палубу кубрика,— несколько пар детских глаз устремилось на него. Глаза голубые, черные, карие. Разные глаза, но во всех страх, страх взрослых людей, много испытавших в жизни, и вера, детская вера в сильного дядю, который не

даст в обиду. Нежность волной накатила на мичмана, но он постеснялся раскрыть ее и пробасил, опускаясь на ступеньки трапа:

— Как дела, галчата?

За бортом журчит вода, а в кубрике тихо, тихо. Ребята смотрят на мичмана и молчат.

— Спасибо, хорошо,— наконец, отвечает та женщина, которая зачем-то подходила к нему в рубке. Она черноволосая, у нее голубые глаза, которые смотрят на мичмана отчужденно, даже вроде бы с презрением. Он вспоминает, как кричал на нее. Потом, кажется, даже толкнул... Извиниться? Неудобно начинать такой разговор при детях. Разве они поймут, что нечаянная эта грубость? В бою и не это случается.

Так и не найдя решения, Никитенко краснеет, начинает злиться и на себя — за то, что растерялся, и на женщину — за ее настойчивый, укоряющий взгляд.

— Мы вам мешаем? — спрашивает она.— Куда нам перейти?

— Кто вам сказал, что мешаете? — перебивает Никитенко. Он не может сдержать раздражения, недовольства собой, и в голосе слышны металлические нотки.— Кубрик и все, что есть на катере, в вашем распоряжении. Я, можно сказать, с проверкой зашел сюда. Нужно что?

— Ничего, все хорошо, спасибо,— отвечает женщина и еще крепче прижимает к себе девочку, которая не спускает с мичмана своих черных, налитых страхом глаз.

— Ваша? Как ее звать? — спрашивает Никитенко и неуклюже тычет в бок девочке «козу».

Женщина отрицательно качает головой, а девочка шепчет:

— Наташа...

— Ага, Наталья, значит.

— Нет, Наташа,— поправляет черноглазая. Ребята переглядываются, а двое, что сидят в углу, даже шушукуются. И Никитенко доволен: они начинают приходить в себя, их покидает страх, безраздельно властвовавший на берегу.

Мичман встает, вынимает книги из шкафчика, вделанного в рундук, и растерянно смотрит на них. Не для ребят эти книги. Чем же занять неожиданных пассажиров? И, решившись, Никитенко кладет на стол «Боевые листки». Все, кроме последнего, в котором рассказано о гибели товарищей. Не нужно, рано еще ребятам так много знать о смерти. Им жить да жить.

— Вы им почитайте,— смущенно говорит мичман.— Тут история нашего катера.

— Хорошо, спасибо,— как-то беззвучно отвечает женщина и поспешно берет со стола верхнюю газету.

— А это Анна Павловна,— неожиданно говорит Наташа.— Она наша воспитательница.

Никитенко, чувствуя, что краснеет, деланно смеется и бросает с нарочитой простотой:

— А я — дядя Андрюша.

Наташа сосредоточенно смотрит на него и продолжает:

— Жорка наш самолетов не боится, а тетя Нина называет его хвастуном.

Жорка — вихрастый и конопатый мальчуган, пристроившийся около иллюминатора. Он пренебрежительно фыркает и продолжает смотреть на проплывающий берег. Вторая женщина, которую Никитенко сначала не заметил, покосилась на девочку и откинула со лба вьющиеся волосы. Лицо ее в этот момент было красивым и вызывающе дерзким.

— Ну, это мы еще проверим,— зачем-то говорит Никитенко и поднимается в рубку.

Никитенко придирчиво рассматривает осунувшееся скуластое лицо Загитуллина, потом переводит глаза на минный бакен, рядом с которым скользит катер.

— Сдавай вахту мне и иди спать,— говорит Никитенко и кладет руки на штурвал.

Лицо Загитуллина покрывается красными пятнами.

— За что, товарищ мичман, от вахты отстраняешь? Честно стою,— заикаясь от обиды, протестует он.

— Спишь, дьявол, вот за что. Не видишь минного бакена? Ведь ребяташки у нас, понимать надо!

На пылающем лице Загитуллина отчетливо видны белые точки осьпинок.

— Пятнадцать штук,— шепчет Загитуллин.

— Не штук, а детей,— поправляет Никитенко. Он еще ворчит что-то, но руки со штурвала снимает: Загитуллин предельно честен; теперь он любой минный бакен за версту обойдет.

— Есть, не лазить к минным бакенам,— торопливо заверяет рулевой и выводит катер на середину фарватера.

— То-то,— добродушно бубнит Никитенко.

Он не поймет, что творится с ним. Ведь никогда он не робел перед женщинами, а тут почему-то растерялся, даже не представился. Спасибо Наталке, выручила. Или взять этот минный бакен. Все время мимо них ходили, а тут накричал на рулевого, разворчался, как хрыч старый.

— Дети — счастье в доме. Нет детей — нет дома, нет семьи, нет жизни,— словно про себя говорит Загитуллин.

— Философ,— усмехается Никитенко и тут же невольно думает: «А здорово сказал Иляс: нет детей — нет жизни».

— У тебя, Иляс, их сколько? — потеплевшим голосом спрашивает мичман.

— Три штука,— гордо отвечает рулевой, и Никитенко с удивлением замечает на его скуластом лице нежную улыбку.

— Ну-ну... Ты, значит, стой, а я пойду поговорю с командой.

Никитенко заглядывает в машинное отделение. Там, в полумраке, около грохочущего мотора дремлет моторист Петухов. Мичману жалко будить его, но иначе нельзя, и он свистит, по-мальчишески засунув пальцы в рот. Петухов бросает взгляд на машинный телеграф, потом поворачивается к люку.

— Давай наверх! — кричит Никитенко.

И вот они трое — Никитенко, Петухов и Карпов — сидят на коробках с пулеметными лентами. Петухов распахнул комбинезон и блаженно щурится: хорошо на ветерке!

— На сколько человек сегодня обед готовишь? — спрашивает Никитенко.

Карпов, который сегодня за кока, недоумевающе смотрит на мичмана и вдруг спрашивает:

— Добавить?

— Заново варить,— поправляет его Петухов.— Зажирел у котла, о детях забыл.

— Это я-то зажирел? — возмущается Карпов.— Становись к плите! Нужны мне ваши кастрюли!

Карпов, вспылив, наговорил много неприятного. Его не останавливали, не перебивали: сам Петухов виноват. Да и во многом прав Карпов. Действительно, нет продуктов на катере. Если варить и на ребят, то завтра к вечеру только чай будет. Чай без сахара и хлеба.

— Пока есть продукты — вари на всех. Потом думать будем,— говорит Никитенко.— Согласен, Карпов?

— Не человек я, что ли? — огрызается тот и исподлобья смотрит на командира катера.

— С первым вопросом покончили... Теперь о сне... Чурка в бункере кончается, надо заготавливать... Думаю идти до поленицы, там — остановка и заготавливаем чурку до утра. Потом идем день и снова заготавливаем. Всей командой заготавливаем...

— Без топлива — гроб,— поддакивает Петухов.

— После заготовки чурки, ты, Карпов, подумай о продуктах. С тебя спросим.

— Ясно, что не с бабушки... Рыбу глушить можно?

— Для такого случая разрешаю... Вот и все.

— А насчет сна? — ухмыляется Петухов.

— Сон — дело нужное,— соглашается Никитенко.— Да когда спать? Женщин попросим обедом заняться, а сами, может, и вздремнем. Не получится — тоже не умрем. Ясно?

3.

Солнце нырнуло за кромку высокого яра. Стало прохладнее. Длинные густые тени легли на реку, которая, устав за день, казалось, прекратила свой бег. Катер-тральщик прижался бортом к берегу и замер, будто погружился в дрему.

Никитенко вышел из рубки и опустил, почти упал на крышу кубрика. Горело раненое плечо, в ушах стоял нудный, не прекращающийся ни на минуту звон. Но больше всего хотелось спать. Стоя за штурвалом, мичман еще кое-как боролся со сном, а сейчас до физической боли было невыносимо слышать мощный храп Загитуллина, растянувшегося около пулемета, и тихое сонное бормотанье ребяташек, уснувших в кубрике. Вспомнив о детях, Никитенко усмехнулся и не без гордости подумал, что один день прошел благополучно. Ребята, сначала робко, а потом осмелев, разбрелись по катеру, побывали и в рубке, и в машинном отделении. Только

надстройка, где стоял пулемет, была для них запретным местом.

А недавно они поели и теперь спят.

— Держи, мичман,— говорит Карпов и протягивает миску.

— Что такое?

— Заправься горючим,— просто и душевно предлагает матрос.— Понимаешь, вытрясли все карманы, мешки — и тюря готова.

Честное слово, окончится война, Андрей придет домой и каждый день сам будет готовить такую тюрю.

— Пилы в порядке? — спрашивает Никитенко, облизывая ложку.

— Петухов уже у поленницы,— отвечает Карпов.

Черная ночь спустилась на землю. Только яркие точки звезд дырявили небо да однообразно ширкала пила. Этот звук раздражал, не давал возможности ни забыться, ни заснуть. Смотрела Анна Павловна на звезды, прислушивалась к звукам пилы, к своим мыслям. А мысли почему-то не о ребятах. Анна Павловна верила, что они будут доставлены в Петропавловку, а если потребуется, то и дальше: очень хорошие матросы на катере. Вот только мичман неприятен ей. И хотя она знала, что он первый предложил отдать детям весь паек, что он, как и вся команда, не спал третьи сутки, что он ранен,— Анна Павловна не могла простить ему грубости тогда, в рубке, и старалась во всех его поступках отыскать какую-то плохую подоплеку. Для нее он по-прежнему был злыднем.

А пила ширкает, ширкает... Анна Павловна закрывает глаза и вдруг, словно наяву, видит моряков. Видит отчетливо, видит так, будто они рядом. По их осунувшимся лицам струится пот; дышат матросы тяжело, прерывисто и пилят, пилят. Вместе с ними и «злыдень».

— Пойдем, поможем? — тихо спрашивает Анна Павловна.

Нине сейчас не хочется даже шевелиться. Она с детства привыкла к тому, что о ней кто-нибудь заботится. Сначала это был папка. Потом — муж. И у того, и другого она жила, постоянно чувствуя поддержку, зная, что ее не дадут в обиду. Когда муж погиб при автомобильной катастрофе, Нина растерялась. Ой, как страшно в этом мире одной! Самой нужно заботиться о еде, одежде, жилье...

Но ее приняли воспитательницей в детский дом. Жить стало значительно легче: она питалась и квартировала вместе с ребятами. Казалось, что страшное позади. И вдруг бомбежка Сталинграда, эвакуация. Нина почувствовала себя песчинкой, которую вихрь может швырнуть куда угодно, и стала искать защиты. И тут, как в милых детских сказках, появились этот катер и матросы. Они такие смелые, сильные, уверенные в себе, и у Нины опять есть за кого спрятаться! Ей кажется, что сейчас, в годы войны, лучшего не найдешь, она всем довольненька и поэтому отвечает голосом человека, которому не нужно заботиться ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем дне:

— Будто без нас не справятся.

Этого Анна Павловна вынести не смогла. Все волнения последних дней, страх за свою жизнь и жизнь детей враз взбунтовались в ней, и она, стараясь сдержать дрожащий голос, заговорила гневно, обличительно:

— Справятся. И без нас справятся!.. Они отдали тебе и свое жилище, и свою еду. Жизнь тебе их нужна? И ее отдадут, если потребуется! А ты что им дала? Улыбнулась, когда обед получала?.. Что ты за человек? Откуда ты пришла к нам в детский дом? Зачем пришла, зачем?

— Помогать...

— Нет, не помогать ты пришла! Ты сама защиты, помощи искала! Тебе страшно стало, боялась, что пропадешь! А где безопаснее? Конечно, рядом с ребятами: их правительство и народ не оставят... Детей ты не любишь,— вдруг спокойно и устало закончила Анна Павловна.— И простых людей не любишь. Только себя.

Все сказанное Анной Павловной — правда. Но ведь это так естественно: каждый человек жить хочет. Непонятно, почему сердится Анна Павловна? Разве она, Нина, мешает жить другим?

Рядом с катером плеснулась крупная рыба. Женщины вздрогнули и невольно покосились на надстройку, где около пулемета темнел силуэт Карпова.

— Ты сама у ребят защиты ищешь,— вздохнув, сказала Анна Павловна.

— Потихе, товарищи женщины,— вмешался в разговор Карпов.— Стоим мы в глухом месте, тут, может, фашистский ракетчик притаился, а вы, как цикады, трещите. Тишину соблюдать надо. Гляньте, что там, в верховьях, творится.

И только тут женщины замечают, что на севере по небу вышагивают холодные лучи прожекторов, а само небо искрится. Там хозяйничают самолеты, там бой продолжается даже ночью. И от сознания того, что кругом война, что и сейчас умирают люди, ночь наполняется таинственностью. Даже ширканье пилы становится тревожным. Нина невольно прислоняется плечом к Анне Павловне, и та не отталкивает ее.

Так, молча, прижимаясь друг к другу, просидели минут пять.

— Ой, и дуры мы,— вдруг сказала Анна Павловна.— Нашли время ругаться... Пойдем, поможем?

Вот и поленница. Она — словно стена — отгородила лес от реки. Анна Павловна боязливо покосилась на тем-

ные деревья. Нина перехватила ее взгляд и сказала так, чтобы ее расслышали работающие матросы:

— Есть чего бояться! Я — фаталистка.

— Как прикажете это понимать? — спросил Петухов. Его женщины узнали по комбинезону.

— Вы не знаете, что такое фаталист? — удивилась Нина.

— Кто такой, — поправил мичман Никитенко.

Он перестал пилить, выпрямился. Анна Павловна заметила, что мичман устал, что повязка на его плече потемнела то ли от пота, то ли от крови.

— Фаталист — человек, который верит в свою судьбу, — пояснила Нина. — Я убеждена, что меня не убьют.

— Какому богу веришь? Русскому, Магомету, Иегове? — спросил Загитуллин.

Когда он успел прийти сюда? Ведь недавно храпел на катере?

— В бога я не верю.

— Тогда вопросов не имею, — усмехнулся Петухов. — Бога нет, долой попов, а перебежала черная кошка дорогу — быть беде?

Моряки засмеялись и снова взялись за работу. Анна Павловна стояла рядом с Ниной и злилась на нее. И тут эта девчонка сунулась со своей философией!.. А все-таки хорошо ее срезали: «В бога не веришь, а черной кошки боишься?» Какую судьбу ты выбрала себе, Нина? Во что ты веришь? Что ты за человек?

Вспомнился сегодняшний день. Нина, испуганная, дрожащая, сидела в кубрике вместе с ребяташками. Ей лет двадцать, а чем она отличалась от воспитанников?

Потом Сталинград остался позади, и все вышли на палубу. Нина выждала немного, поправила прическу, посмотрелась в зеркало, стерла с носа какое-то пятнышко и лишь после этого появилась на палубе. Здесь, чувствуя

на себе взгляды матросов, она держалась спокойно, независимо. Прошло еще несколько минут, и она уже начала кокетничать с Карповым, неизменно стоявшим у пулемета. Анна Павловна, наблюдавшая все это, осуждала Нину. Хотела уже было подойти, но в это время рядом появился мичман. Он неумело извинился, вернее, пробормотал что-то о том, что тогда ему было не до вежливости. Анна Павловна ничего не ответила, растерялась.

Мичман постоял рядом, вероятно, перехватил ее взгляд, направленный на Нину, и сказал:

— Не беспокойтесь, Карпуша лишнего не позволит.

— А я за нее и не беспокоилась. Я только за детей в ответе,— сказала тогда Анна Павловна.

Мичман промолчал, повел плечами и скрылся в рубке. Интересно, что он подумал? Вздорной бабой, наверное, окрестил... Это было днем, а сейчас вновь красней из-за Нины... Хорошо хоть то, что опять не нагрубил злыдень днем. Может, понял, что нельзя так обращаться с женщинами?

Анна Павловна, конечно, не знала: смолчал мичман потому, что почувствовал, сердцем понял — для этой ершистой женщины дети дороже всего, только о них она сейчас и думает, если потребуется — им жизнь свою отдаст.

Анна Павловна шагнула вперед, нагнулась к пиле и сказала, положив руку на плечо Петухова:

— Сейчас наша очередь с Ниной.

Петухов посмотрел на мичмана. Никитенко разжал руку и выпрямился. Анна Павловна поняла, что они будут пилить, а это значит — их приняли в семью моряков.

Ох, как долго Нина приспособляется! То опустится на колени, то выпрямится...

Пила рывками шла по срезу. Если так продолжать и

дальше,— не скоро будет распилено первое полено. Пусть хоть час потребуется,— Анна Павловна не отдаст пилу морякам! Так решила она и, закусив губу, таскала пилу и за себя и за Нину.

— Стоп,— вдруг раздался спокойный голос мичмана.

— Мы не устали,— запротестовала Анна Павловна. На нее зашикали. Она отпустила ручку пилы и выпрямилась. К чему прислушиваются моряки? У нее в ушах шумела только кровь.

Но вот появился и другой звук — противный, прерывистый. Сомнений быть не могло: над рекой шли немецкие самолеты. Первой мыслью было — дети. Бежать к ним, защитить их. Но матросы стояли. Осталась на своем месте и Анна Павловна: она верила морякам, полагалась на их опыт.

Самолеты где-то в темном небе, над головой. И хотя их не видно, Анна Павловна чувствовала присутствие этих машин. Вот один из самолетов пошел в пике. Еще мгновение — и раздирающий уши вой бомбы наполнил ночь..

Что-то тяжелое упало в Волгу. Но взрыва нет. Почему?

— Мину поставил,— тихо сказал Никитенко.— Быстро на катер!

4.

Над рекой плывут тонкие, прозрачные нити тумана. Прохладный ветерок чуть рябит воду. Солнце еще не поднялось, только лучи его нежно золотят маленькие облачка, ватными хлопьями застывшие среди прозрачной голубизны.

На корме катера расположились моряки и женщины. Около них стоят два мешка чурки. Это все, что заготовили до появления самолетов. Потом — следили за па-

дающими минами, прислушивались к гневному ропоту потревоженной Волги.

Все сидят и молча потягивают горячий чай из больших железных кружек. Пьют чай «в приглядку»: и последний хлеб, и последний сахар оставили ребятам на утро. Анна Павловна наблюдает за моряками незаметно для них. И, конечно, прежде всего за мичманом, который почему-то интересуется ее больше всех. Его белесые брови сдвинуты так, что не видно голубых глаз. На подбородке и щеках — золотистая щетинка. На плечи небрежно наброшен китель. Анна Павловна знает, что это не кокетство, а необходимость: болит у мичмана плечо, растревоженное ночной работой.

О чем сейчас думает злыдень?

А мичман думал о многом, но прежде всего — как поступить сейчас? Самолеты поставили мины. Границы минного поля неизвестны. Разумеется, их можно определить, только для этого потребуется время. Будь на катере продукты — что такое лишние сутки, которые ребята проведут на воде? Только радость. Теперь же об этом и думать нечего. Значит, надо идти. Как идти? Напролом, как раньше, бывало, хаживали? И думать не смей, мичман! Выходит только и остается: постараться выяснить, где безопасный путь. И сделать это должен он, командир катера.

Так, постепенно, в голове Никитенко складывался план работы на день.

— Анна Павловна, вас Наташа зовет, — сказал тот самый Жора, который не боялся самолетов, и сел рядом с Петуховым. Моторист охотно подвинулся и протянул мальчику свою кружку. Жора из скромности немного поломался, потом уступил просьбам, и вот кружка уже у него в руках. Иначе и быть не могло: они с Петуховым друзья со вчерашнего дня.

Анна Павловна с Ниной ушли в кубрик. Там все проснулись, и детские голоса звенели в утренней тишине.

— Я сейчас пойду на разведку,— сказал Никитенко,— а ты, Карпов, командируешься в деревню за продуктами. Петухов к твоему приходу глушанет рыбы, но ты там сам разворачивайся, на него особенно не рассчитывай... Потом, Петухов, ложись спать. Загитуллину стоять на вахте.

— Может, я вместо тебя схожу, мичман? — робко заметил Загитуллин.— Тебе отдохнуть надо.

— Ты маленький? Не понимаешь? — спросил его мичман, встал, надел китель и сошел на берег.

Загитуллин не был маленьким, сам знал, что разведка минного поля — обязанность командира. Поэтому он так робко и предложил мичману отдохнуть.

Когда Анна Павловна вышла из кубрика, мичман уже ушел, а Карпов стоял на корме катера и рассматривал на свет брюки, которые дал ему Загитуллин. Рядом, на мешке, лежали еще какие-то вещи. И тут Анна Павловна поняла, что моряки хотят в деревне выменять продукты на свои вещи, на вещи, которые нужны им самим, за которые даже придется отвечать перед строгим начальством.

— А у нас ничего нет,— чуть не плача от благодарности, сказала Анна Павловна.— Все в Сталинграде оставили...

— Вы не подумайте чего,— затараторил Карпов, торопливо укладывая вещи в мешок.— Это у нас лишнее. Почти каждый рейс меняем что-нибудь в деревнях. Военный катер — не склад утильсырья, ничего лишнего на нем быть не должно... Ну, бувайте здоровеньки, не скачайте!

Карпов закинул мешок за спину и быстро зашагал по тропинке, которая вилась по кромке яра.

Нет, не удалось тебе, Карпов, обмануть Анну Павловну. Она знала, что военный катер — не база утильсырья, здесь каждая тряпочка на учете. Ох, и попотеет злыдень у начальства, когда будет отчитываться за эти штаны и все другое, что в мешок сунуто...

Задумчивая стояла Анна Павловна на палубе катера. Как отблагодарить моряков за все то, что они сделали для ребят? Не пойти ли самой к начальству моряков, не заявить ли, что все это сделано лишь для детей, только для них?.. А вдруг это навредит мичману? Может, он уже нашел лазейку? И нет уже у Анны Павловны злости на мичмана, он даже, вроде бы, дорог ей, судьба его волнует ее.

— У меня к вам просьба, Анна Павловна,— слышит она голос Петухова и оборачивается. Моторист стоит за ее спиной. Глаза у него усталые, лицо измученное.— Я прилягу, а вы не пускайте ребят к мотору. Как бы не покалечились.

— Хорошо, хорошо,— поспешно соглашается Анна Павловна, хочет сказать что-нибудь теплое, дружеское и не может: она даже имени матроса не знает. Моторист Петухов — и все.

Петухов спустился в машинное отделение. Прошло еще несколько минут, и Жора, появившийся внезапно из-за рубки, сказал:

— Дядя Витя спать лег. Я там, на корме, сидеть буду. Если кто зашумит — я ему как дам!

Анна Павловна нежно привлекла к себе Жору, пригладила рукой вихор, торчащий на его затылке, и почему-то прошептала:

— Правильно, Жора... Только драться не надо... Позови сюда тетю Нину.

— А она спит. Как поела — ушла в кубрик и легла. Велела не мешать ей, она всю ночь не спала.

— Хорошо... Спасибо,— ответила Анна Павловна и отвернулась, чтобы мальчик не заметил слез обиды, навернувшихся на глаза.

Где у тебя совесть, Нина? Есть ли она у тебя вообще?

— Слушай, Анна Павловна, зачем ребятам на катере сидеть? Катер у берега — мертвый катер. Пусть играют на берегу. Я смотреть за ними буду, а ты спи,— предложил Загитуллин.

— Хорошо... Спасибо,— ответила Анна Павловна и торопливо высморкалась. Чужой, незнакомый человек заботится о детях, о ней, а Нина спать завалилась...

Анна Павловна вышла с ребятами на берег... Роса уже высохла, и нежная зеленая трава приятно щекотала босые ноги. Ребята смеялись, валялись на траве, гонялись за бабочками и стрекозами, а Анна Павловна села в тени под деревом, смотрела на ребят, на величавую Волгу и думала, думала. Еще вчера ей были безразличны моряки, а сейчас нет людей дороже.

Почему там, в мирной жизни, не встретила она с одним из таких людей?.. Может быть, тогда просто не представлялось случая, который так полно раскрыл бы их души? Все может быть... Ведь думала же она неправильно о мичмане. И вовсе он не злыдень. Простой душевный человек... И ребят любит...

5.

Загитуллин один бодрствовал на катере. Он стоял на надстройке у пулемета и смотрел на берег. Наблюдал только за ребятами. В машинном отделении похрапывал Петухов, а на берегу, под деревом, дрема свалила Анну Павловну.

Что-то долго нет ни командира, ни Карпова. Ну, Кар-

пуша — тот потрепаться любит: нашел в деревне аудиторию и соловьем заливается. А вот командира долго нет — непонятно. Он время даром терять не будет... Или присел где-нибудь в тени прикурить, да не заметил, как уснул?.. Нет, мичман не сядет отдыхать.

И вдруг — словно кто-то царапает железом по железу. Загитуллин настораживается. Тихо. Но вот снова тот же звук. Он несется с кормы. Перехватив автомат поудобнее, Загитуллин неслышно крадется к корме. Выглядывает из-за надстройки. По его лицу расплывается добродушная улыбка:

— Что, Жора, здесь делаешь? — спрашивает он, забросив автомат за спину.

Жора, который сидит около люка в машинное отделение и скоблит кухонным ножом краску на борту катера, вскидывает на рулевого свои ясные глаза и отвечает приглушенным шепотом:

— Дядю Витю караулю.

— Нечего его караулить, никто не украдет, — нарочито серьезно говорит Загитуллин, — иди играй.

— Мне сама Анна Павловна разрешила, — приводит Жора последний довод и хмурится.

Загитуллин в затруднении. С одной стороны, нечего парнишке сидеть на катере, а с другой... Анна Павловна — воспитательница, ее авторитет подрывать нельзя, — это за годы службы в кровь въелось. А Жора уже заметил, что его не прогонят, и приободрился. Теперь он не сутулится, не прячет глаза под длинными ресницами, а даже задорно смотрит на Загитуллина, дескать: «Что взял? И постарше тебя есть».

Неизвестно, какое решение принял бы Загитуллин, но Жора глянул на берег и воскликнул:

— У-у-у, сколько народу идет за дядей Карповым!

Демонстрация настоящая!

Загитуллин посмотрел на берег. По тропинке шли Карпов и три женщины. У Карпова за спиной мешок, у женщин — в руках корзинки, битончики.

— Буди дядю Витю и Анну Павловну,— распорядился Загитуллин.

Быстрым и четким движением он поправил напуск фланелевой рубахи и встал к пулемету. Скуластое лицо — будто высечено из камня; глаза — строгие, внимательные; все мускулы тела напряжены. Именно такими обычно рисуют художники пограничников, находящихся в дозоре.

— Разрешите доложить? — спросил Карпов, остановившись у трапа и опустив мешок на землю.— Вот эти гражданочки сомневаются в моей честности. Так сказать, всенародный контроль. Дозвольте им побывать на нашей базе?

Разумеется, никто не мог запретить людям находиться на берегу, знали об этом и Карпов, и Загитуллин, однако один спросил разрешения, а другой милостиво бросил:

— Разрешаю. Все прочее — помощник командира скажет.

Петухов, успевший не только проснуться, но и сполоснуть лицо, уже появился на трапе и сказал, козыряя:

— Помощник командира. Какие вопросы, гражданки?

Женщины смущенно переглянулись, пошептались.

— Сомневались в правоте моих слов,— охотно пояснил Карпов.— Ну, пришел я в деревню и начал операцию...

— Конкретнее...

— Я конкретно и начал операцию с твоих штанов. За них давали каравай хлеба — и точка! Скажи, можно жить

при таком товарообмене? Я, конечно, не вытерпел, сказав о международном положении и так далее, а потом как рявкну: «За такие штаны каравай даете, так чем я детвору кормить буду?» Тут эти бабочки и насели. Дескать, сколько лет живем, а впервые слышим, чтобы у матросов на корабле ребята были. Сами рожаете или инкубаторные?.. Я и объяснил... Вроде бы и поверили, но делегацию прислали.

— Да помолчи ты! — прикрикнула дородная женщина (судя по всему, она была главной в делегации).— Вы ведь и сами должны знать, какой у него язык,— не то оправдываясь, не то обвиняя, начала она, глядя только на Петухова.— Наговорил семь верст, а что правда — и сам бог не разберет!.. А с продуктами, сами знаете, не густо... Зачем на ветер бросать? Решили проверить, помочь, если правда.

— Все правда, гражданочки, истинная, как на духу! — торжествовал Карпов.— А за продукты, если желаете, можем и заплатить трудовыми...

— Я вот как заплачу тебе со всего плеча, не скоро забудешь! — повысила голос женщина, смерила взглядом матроса и направилась к полянке, где в кругу ребят сидела Анна Павловна.

— Трепло несчастное! — тихо выругался Загитуллин и показал Карпову кулак.

Тот и не пытался оправдываться.

— Промазал, братцы, не учел настройки женского сердца,— сказал он и полез к пулемету.

О чем говорили женщины между собой — моряки не знали, но зато видели, что они даже прослезились, слушая Анну Павловну. А еще через несколько минут и мешок, и корзинки, и битончики были перенесены на катер.

— Теперь живем! — сказал Карпов, растопляя печурку.

6.

Мичман Никитенко, усталый, пропотевший, пришел в полдень. Осмотрев катер, он присел рядом с Анной Павловной и сказал, облизав запекшиеся губы:

— Мины фашисты поставили ночью. Много мин... Вы с ребятами тихонько идите по берегу, а мы на катере проскочим опасное место и тогда заберем вас.

— Хорошо... А далеко идти?

— Километров пять... Мы там дожидаться будем... Да, Нину разбудите сами.

Анне Павловне стыдно, хотя и нет ничего предосудительного в том, что Нина все еще спит. Поэтому будит она ее нетерпеливо, резко. Нина открывает глаза, безмятежно смотрит на Анну Павловну и спрашивает:

— Теперь ты ляжешь?

— Нет, мы с тобой и ребятами пойдем пешком.

— А они?

— Если ты фаталистка, то плыви с ними по минному полю.

Нина молча поправляет перед зеркалом прическу и выходит на берег. Она больше не замечает ни катера, ни моряков, которые готовятся к новому походу.

— Что это? — спрашивает Никитенко, держа в руке сверток.

— Не знаю, товарищ мичман, — краснеет Загитуллин.

— Вахтенный все должен знать, — замечает командир и разворачивает бумагу. В ней — брюки, фланелевка и другие вещи, которые предназначались для обмена. — Карпов? Это откуда?

— Наше, товарищ мичман... Бабы, то есть женщины,

товарищ мичман, подбросили!.. Я еще тогда по глазам их понял, что не случайно они все это с собой захватили!..

— Разговорчики!.. Что ж, вторично не понесем... По местам стоять, со швартовых сниматься.

Катер отошел от берега, развернулся и ринулся вниз по реке. Вода послушно расступалась перед его острым носом, неслась за кормой рядами белопенных волн. С берега, где шли ребята и воспитательницы, катер казался маленьким, хрупким. И тем удивительнее было то спокойствие, с каким моряки выполняли свой долг. Анна Павловна видела, как невозмутимо стоял на своем посту Карпов, как мичман беспечно сидел перед рубкой. Слово не над минами проносился катер, словно не смерть протягивала к нему из-под воды свои холодные щупальцы.

И невольно вспомнились рассуждения Нины о фатализме. Фаталисты ли моряки? Конечно, нет. Анна Павловна верила, знала, что другая сила ведет их по минному полю. Имя ее — долг гражданина и воина.

Тропинка свернула в лес, и катера не стало видно. Что с ним? Проскочил ли он минное поле? Хотелось ускорить шаги, хотелось бежать, но рядом шли дети. Они не знали ничего об опасности, угрожавшей катеру, они пока еще не устали и залезали в кусты, пытаясь отыскать гнезда птиц, взмывающих из-под самых ног, и смеялись только оттого, что были детьми.

— Анна Павловна, а что мы будем делать, если катер погибнет? Как мы тогда доберемся до Петропавловки? — спросила Нина, догнав Анну Павловну.

Анна Павловна и сама уже думала об этом. Но в словах Нины звучало полное безразличие к судьбе катера и людей. И поэтому она резко повернулась к Нине и зло прошипела:

— Если бы не ребята, я бы глаза тебе выцарапала!

Нина испуганно отшатнулась. Но только испуг, а не раскаяние увидела Анна Павловна в ее глазах. Значит, Нина опять не поняла, что так рассердило Анну Павловну.

Молча прошли с километр. И тут Анна Павловна не выдержала. Она больше не могла идти здесь, в прохладной тени, больше не могла ожидать,— а не заглушит ли могучий взрыв мины птичьего голоса? Анна Павловна подошла к Нине, которая плелась последней, и сказала, стараясь казаться спокойной:

— Смотри за ребятами, я вас на опушке встречу.

Сказала и быстро пошла вперед. За поворотом тропинки, когда ребята уже не могли ее видеть, она побежала. Кровь билась в висках, перехватывало дыхание, а она все бежала и бежала, прижимая к груди платок, свалившийся с головы.

Вот и опушка. Анна Павловна в изнеможении прижалась к стволу дуба и заплакала радостными слезами: катер — целый и невредимый стоял у берега.

К катеру, остановившемуся около домика бакенщика, подошли порознь: сначала Анна Павловна, потом — Нина. Поднялись на катер и опять разошлись: Анна Павловна уселась с ребятами на надстройке, Нина зашла в рубку и стояла там, смеясь и о чем-то расспрашивая Загитуллина.

Ребята разбрелись по катеру. Чувствовалось, что они пришли сюда, как к себе домой. А Наташа бесцеремонно забралась на колени к мичману и что-то шептала ему на ухо, делая страшные глаза и прикладывая палец к губам. Мичман, пряча улыбку в воспаленных глазах, подкивал ей и отвечал тоже шепотом. Да, у этой пары не будет разногласий. Не будет их и у Жоры с мотористом Петуховым. Они тоже поняли друг друга, и Жора с са-

модовольным видом сидел около машинного отделения, комкая в руках клочок пакли. Он подражал дяде Вите, он мысленно уже работал мотористом.

Все нашли себе место, все были заняты. Только Нина одиноко стояла около рубки и смотрела вдоль Волги, теряющейся между зеленых берегов. Анна Павловна уже не сердилась на нее. Зачем? Нину за день не перевоспитаешь. Было только обидно, что ее приняли воспитательницей в детский дом. Посмотрели документы — и приняли. Будто не знали, что к детям не всякого человека можно допускать.

7.

Наконец оказались позади многочисленные минные поля, и мичман сказал, что часа через два будет Петропавловка. И хотя путешествие подходило к концу, Анна Павловна не испытывала большой радости. Она согласилась бы плавать с этой командой хоть всю войну. Пусть стоят минные поля, пусть беснуются немецкие летчики — она готова вынести все, что выпадет на долю катера.

Пока, конечно, это мечты. Выскажи их — набросятся, осудят именно те люди, мнением которых ты дорожишь. И подтверждение — встреча с тральщиками. Произошла она в тот же день, когда Карпов ходил в деревню за продуктами, но только под вечер и у нового минного поля. Те тральщики ходили по реке шеренгой и каждый из них на толстом тросе вел баржу. Все траление выглядело очень просто, почти примитивно и в то же время непонятно. Хотелось спросить, почему они так ходят, ходят и ничего больше не делают? И что за баржи у тральщиков на длинных буксирах? Но как спросишь, если

лица у всех моряков сразу стали словно каменными? Так и промолчала Анна Павловна, а между собой моряки почти не говорили о работе тральщиков. Только мичман заметил:

— Траление в разгаре. Придется швартоваться к берегу.

Опять встали у яра, и опять дети сошли на землю. Но теперь они не играли, а смотрели на тральщики. У них на глазах и взорвали первую мину. Все шло обычно — и вдруг около одной баржи взвился столб воды, застыл на мгновение и рассыпался мириадами брызг. Столб еще стоял, когда Волга и берега ее вздрогнули от мощного удара. Невольно подумалось: «А если бы под катером?» Ведь баржа, большая железная баржа раскололась как игрушечная!

Катера-тральщики подошли к берегу. Мичмана вызвали к их командиру. Пробыл Никитенко там минут двадцать, а вернувшись, сказал одно:

— Чурку нам дадут.

Тральщики дали не только чурку, но и продовольствие.

— Теперь нам еды хоть до Астрахани хватит,— заявил Карпов.

Вот и выходит, что дети — прежде всего...

До Астрахани далеко, а Петропавловка уже видна. Катер быстро идет по извилистой протоке к домикам, толпящимся на берегу. Что-то ждет там? Как встретят непрошенных пришельцев? Да и встретят ли?

Все эти вопросы так волновали Анну Павловну, что она опомнилась лишь тогда, когда ребята уже разместились в комнате бывшей школы. Новые знакомые стелили им постели, готовили обед. Чем же заняться ей, Анне Павловне? Вроде бы и все сделано, а на душе какой-то

неприятный осадок, будто забыла что-то важное-важное... Но что? И вдруг глаза остановились на Жоре. Он сидел в углу и хмуро смотрел в окно. На нем полосатая тельняшка — подарок Петухова.

Анна Павловна торопливо накинула на голову шелковую косынку и, бросив удивленной Нине: «Я на минутку», — выскочила на улицу.

По улице поселка она бежала так, словно боялась, что не застанет катера и потеряет самое важное, без чего и жизнь не мила. Но катер стоял на прежнем месте. Анна Павловна поднялась по трапу на палубу и спросила Загитуллина:

— Командир здесь?

— В кубрике.

Мичман спал в знакомом кубрике, спал на том самом рундуке, где еще вчера спали она и ребята. Голова его лежала рядом с подушкой, но он спал, как это может только человек, очень утомившийся и выполнивший свой долг. Анна Павловна осторожно присела рядом с ним с минуту молча разглядывала его, потом прошептала, положив руку на грудь мичмана:

— Товарищ мичман... Андрюша...

— А это хорошо, что ты пришла, — сказал из рубки Загитуллин. — Он тебе письмо написал, велел отнести, да Карпов уснул. Теперь его будить не буду... Письмо на Боевых листках лежит...

Анна Павловна взяла маленький листочек бумаги, сложенный треугольником. Развернула его. Там только и было написано: «Добрый день, Анна Павловна! Хотел идти к вам, чтобы проститься, но сон с ног валит. Извините за ту невольную грубость и, если больше не сердитесь, черкните по адресу: п/почта, 204, мичману Никитенко Андрею Петровичу».



1.

Все было точно так, как и всегда: и темная ночь, спрятавшая переправу от вражеских самолетов, и матросы и солдаты, грузившие на катера ящики со снарядами, минами и патронами. Даже командиры связи и различные порученцы точно

так же, как и вчера, спешили куда-то, задавали самые нелепые и ненужные сейчас вопросы, вроде:

— Получена махорка для личного состава?

Неужели обо всем этом нельзя спросить завтра, когда дивизион вернется на базу? Разве легче будет катерам прорываться в Сталинград, если этот старший лейтенант именно сейчас запишет в своем блокноте, что из-за нехватки людей катера идут в бой с неполным личным составом?

Давайте поговорим обо всем этом завтра? Сейчас, когда до боя считанные минуты, честное слово, у всех воюющих другие заботы.

Еще вчера командир дивизиона катеров-тральщиков капитан третьего ранга Первушин более или менее спокойно отвечал на все вопросы, а сегодня не может. Все обычно, как всегда, и в то же время нет чего-то. Будто частицы тебя самого нет.

Сегодня Первушина все злит. Поэтому он хмурится, на вопросы отвечает односложно и нетерпеливо погля-

дывает на ручные часы, подарок Наркома за Финскую кампанию.

Первушин высок, широк в плечах. Он не в шинели, как другие командиры, а в полушубке с поднятым воротником, отчего кажется выше и сильнее всех. Невольно думается, что он даже имеет право на эти лаконичные ответы. И командиры связи и порученцы стараются побыстрее отойти от него.

Наконец оборвалась цепочка людей с ящиками на спине, и на мостки взбежал молоденький лейтенант, козырнул и отрапортовал:

— Погрузка закончена, товарищ комдив!

— Окончена, говоришь,— сказал Первушин и посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, так ли это; не забыли ли чего.

Ночь была темная, без единой звездочки, и командир дивизиона мог видеть лишь людей, стоящих около него, но этот взгляд по сторонам — привычка; в эти секунды командир дивизиона мысленно проверяет, все ли необходимые приказания отданы, все ли сделано, без чего потом, в бою, взвоешь.

И вдруг глаза задержались на старшем политруке. Он появился здесь минут... Командир дивизиона взглянул на часы и отметил, что сегодня от боевого задания погрузка украла только двадцать минут. А старший политрук пришел, когда она только началась. Значит, он здесь минут восемнадцать или пятнадцать. Вспомнился и разговор с ним.

— Разрешите обратиться? — сказал старший политрук.

— Позднее,— ответил он и пояснил: — Занят.

С тех пор и ждет старший политрук. «Видать, дисциплинированный, привык с начальством не спорить»,— подумал Первушин с неприязнью. Кроме того, ему стыд-

но за свою забывчивость и он сказал, не скрывая раздражения:

— Слушаю вас, товарищ старший политрук.

— Я прибыл...

— Вижу.

Показалось или действительно усмехнулся старший политрук? Однако продолжил он по-прежнему спокойно:

— ...на должность вашего заместителя по политической части.

Утром умер от ран Павел, а сейчас уже на его место явился этот!

Раздражение и обида за Павла поднимаются, сжимают горло, и командир дивизиона, с трудом сдерживая себя, говорит сухо:

— Считайте, что вступили в должность... Сейчас идем в бой, разговоры придется отложить.— И тут не смог сдержать обиды: — Быстро же вас прислали.

— Разве плохо, что быстро? — будто не заметив злости комдива, спросил старший политрук.

Командир дивизиона круто повернулся и зашагал по мосткам, поскрипывающим и прогибающимся под его тяжестью. Когда перешагивал через леера, заметил, что старший политрук прыгнул на соседний катер. Это понравилось, но он откинул воротник полушубка и постарался не думать ни о смерти Павла, с которым бок о бок воевал полтора года, ни о новом своем заместителе. Иначе и нельзя: впереди ночь работы на переправе через Волгу, впереди много рейсов в осажденный город, над которым висят осветительные бомбы, на подходах к которому враг встретит дивизион снарядами, минами и пулеметными очередями. Главное сейчас — выполнить задание, а личное... Эх, Павел, Павел... Что ж,

возможно, придется извиниться за неласковый прием, если этот обиделся...

А произнес спокойно и властно, как всегда:

— Всему дивизиону сниматься со швартовых.

2.

Командир катера-тральщика видел, как незнакомый старший полутрук прыгнул на катер. Однако не окликнул его, не вышел из рубки, чтобы проверить документы: когда корабль отходит от берега, вся его команда стоит на боевых постах, а его личный пост — в рубке, рядом с рулевым. Кроме того, этот старший политрук только что разговаривал с комдивом, значит, знакомый или его приказание выполняет. Военный корабль — не трамвай, куда запросто всякий прыгнуть может.

Конечно, документы проверить надо будет, но это успеется и чуть позже, когда катер отойдет от берега.

Однако старший политрук сам вошел в рубку, протянул раскрытое удостоверение и сказал:

— Старший политрук Векшин. Новый заместитель комдива по политчасти.

Голос у него бархатистый, спокойный.

Мичман включил фонарик, прочел удостоверение, потом перевел луч на лицо старшего политрука. Точно, как фотокарточка: зачесанные назад с висков волосы, серые глаза и круглые, налитые щеки. Только ямочек сейчас на них нет, как на фотокарточке. Видать, хорошее настроение было, когда фотографировался.

— Мичман Ткаченко,— в свою очередь представился командир катера.— Особые приказания будут?

Векшин сейчас не хотел ни во что вмешиваться, он искренне считал,— ничто так не вредит любому делу, как обилие начальников; в этом он имел возможность

убедиться, когда сам еще был матросом. И поэтому ответил:

— Действуйте так, будто меня нет.

— Слушаюсь,— козырнул мичман и нахмурился. Он двенадцать лет прослужил на флоте, всякого начальства насмотрелся и терпеть не мог, когда кто-то из них стоял за его спиной: простачком иной такой начальник прикидывается, вроде бы и в стороне он, а сам советами так и сыплет! Успевай собирать. Или, что того хуже, разразится приказами, хотя отдавать их здесь имеют право лишь он, мичман, и его непосредственные начальники.

А этот, видать, хитер, притворяется, будто рассматривает рубку! А чего ее разглядывать? Что в ней мудреного? Фанерная будка с большим смотровым окном спереди!

— Почему переднее стекло не поднято?

Ишь, уже вцепился!

Но ответил мичман спокойно:

— Нам оно не мешает.

— Разобьется — вас же осколками поранит,— и неожиданно ловко старший политрук поднял стекло, прицепил к козырьку рубки.

И командиру катера, и рулевому сразу стало ясно, что замполит морское дело не по учебнику знает. Это радовало: значит, с понятием к морской службе, значит, не должен быть буквоедом.

Командир катера даже намеревался спросить, откуда он и где служил, но катер уже вынырнул из-за острова, разрезавшего реку на два рукава, и сразу вблизи звонко разорвалась мина — фашисты заметили катер. Тут уж не до разговоров: только следи за водяными столбами, вздымающимися на реке, только успевай от них отворачивать.

Катер то стопорил ход, то так бросался вперед, будто хотел выскочить из воды. Или круто ложился на борт. Тогда вода, казавшаяся дегтярно-черной, пенилась вровень с палубой, и катер дрожал от напряжения; ему, перегруженному, было трудно выпрямляться.

— Нагрузочка на пределе,— опять заметил замполит.

— Меньше брать никак нельзя...

— Побольше ящиков сунули бы в кубрик — вот и порядок,— перебил замполит.

— Время потеряем при разгрузке.

— Зато больше шансов, что не перевернете катер.

Мичман в душе был согласен, но сознаться в этом мешало самолюбие, и он молчал. Молчал и замполит, он уже проклинал себя за язык: ведь хотел же первый рейс сходить просто пассажиром!

Выручил рулевой, он доложил:

— Вижу сигнальный огонь!

Мичман тоже видит короткие вспышки. Это солдаты сообщают, что к приему груза готовы и просят пристать здесь.

— Подворачивай!

Вот он, город, в котором почти два месяца идет непрерывный бой. Нет домов. На береговом обрыве торчат только их дырявые стены. Нет и улиц, прямых, просторных. Их перегородили перевернутые трамваи и развалины зданий.

Берег, куда приткнулся катер, весь изрыт воронками от бомб и снарядов. Кажется, здесь так много упало металла, что не должно уцелеть ни одного человека. Но люди есть. Они пережили неистовые многочасовые бомбежки, артиллерийские обстрелы, от которых подрагивала земля даже на левом берегу Волги, отразили танковые атаки и цепко держатся за эту землю. Вот они,

эти люди, вылезают из щелей, канализационных колодцев, из-под развалин домов и бегут к катеру.

С носа катера сброшен узенький трап. Он прогибается, потрескивает, но солдаты и матросы будто не замечают этого. Они торопливо избегают по нему на катер и, взвалив на спину тяжелый ящик, осторожно сходят на берег. Непрерывно движется вереница людей, хотя мины то и дело рвутся рядом, хотя их осколки предательски вкрадчиво и подло шуршат в воздухе.

В этой веренице, со снаряжным ящиком на спине, и старший политрук Векшин. Он ничего никому не приказывал, он работал наравне со всеми, но мичман, который сейчас один стоял в рубке, видел, как ему уступали дорогу, как осторожно клали на спину очередной ящик. Это было уважение к старшему, который мог бы не прийти, но пришел на помощь.

Утащили на берег последний ящик — немедленно, прижимая к груди перебитую руку, пошел по трапу раненый. Ослабел солдат от боли и потери крови, покачнулся, и упал бы в воду, если бы не поддержали его руки товарищей.

— Два человека с наметкой — ко мне! — кричит старший политрук.

Наметка — шест, которым измеряют глубину. Теперь два матроса — один на катере, другой на берегу — держат наметку параллельно трапу и на уровне пояса. Она стала надежными перилами, о которые раненый может опереться.

Раненые идут, идут. Будто рождает их ночь. Они не просят, не умоляют перевезти их на левый берег. Лишь изредка услышишь стон. Или заскрежещет кто зубами.

Старший политрук Векшин с тремя матросами стоят по пояс в воде, принимают с берега тех, кто уже не может сам двигаться. И передают на катер.

Мичман Ткаченко, обида у которого уже прошла, спросил, когда катер сел ниже ватерлинии:

— Разрешите отходить, товарищ старший политрук?

Тот ответил просто:

— Командуй.

Снова впереди только чернота ночи. Город — за кормой. От него отошли километров на пять и поэтому стрельба орудий доносится как глухие, тяжелые раскаты, а пулеметные очереди вроде бы вовсе беззвучны.

Старшему политруку сначала подумалось, что их катер один режет носом волны в этом районе. Только подумалось так — какой-то катер проскочил мимо. Его не видели, его почувствовали, его угадали по крутой волне, которая неожиданно и задорно стукнула в борт.

Часто налетают волны и всегда неожиданно.

Старший политрук, мокрый по пояс, сидит на палубе катера среди раненых. Мичман слышит его голос:

— Никогда и никаким фашистам не сломить нашего народа. Любой с пупа сдернет, но не осилит нас!

Среди раненых оживление. И чей-то голос, подрагивающий от огромной боли:

— Сдохнут, а не осият... У Гитлера кила-то, поди, по земле волочится. Ишь, как кожилится, а мы все стоим.

Он так и сказал:

— А мы все стоим!

Сказал убежденно. Он и сейчас не считал себя окончательно выбывшим из строя. Он верил, что еще посчитается с врагами, сторицей отплатит им не только за разрушение города и смерть многих людей, но и за слезы детей и женщин, которые встали к станкам на далеких заводах, за кровоточащие мозоли на ладонях любимых, за те самые мозоли, что родились при рытье бесконечных окопов и противотанковых рвов.

3.

Во время второго рейса, чтобы не лезть к мичману с советами, старший политрук поднялся на крышу машинного отделения, где торчал крупнокалиберный пулемет — единственное оружие катера-тральщика. Если, конечно, не считать личных карабинов.

— Матрос Азанов! — представился пулеметчик.

По голосу ясно, что настроение у матроса нормальное. А ты, замполит, думал, что неуютно этому матросу одиноко торчать на открытой для всех пуль и осколков площадке.

Старший политрук осторожно коснулся пальцем дульного среза ствола пулемета.

— Не бойтесь, он не кусается.

— Так я же не зубы проверяю. Смотрю, нет ли запычки от сырости. Некоторые любят такие штуки.

И оба засмеялись, довольные собой и друг другом.

— Значит, настроение подходящее?

— Как положено по уставу... У вас газетки не найдется?

— Темно же, ничего не увидишь. А на базе обязательно дам.

— Закурить бы.

— Курить? На посту?

— У нас, товарищ старший политрук, устав особый, кровью писанный. На посту мы другой раз сутками стоим, так все это время и не курить?.. Загнешься! Не от пули фашистской, а без курева загнешься!

Высказался матрос Азанов и умышленно сосредоточенно начал протирать ветошью затвор пулемета. Он всем своим видом, каждым своим движением говорил: «И чего я попусту слова трачу? Разве вы поймете, что матросу сейчас нужнее всего?»

Старший политрук сам был заядлым курильщиком и после этого разговора он так захотел курить, что хоть волком вой. Одновременно в нем проснулось и озорство, то самое озорство, которое считал давно похороненным: неодолимое желание нарушить порядок. И он достал кiset.

— Курить в рукав умеешь? — только и спросил он.

— Детский вопрос!

Сидели на коробках с пулеметными лентами, курили тайком и молчали.

— Зайду, пожалуй, к мотористам, — будто советуется старший политрук, растирая о каблук окурочок.

— Там запросто обалдеть можно, — кивает матрос.

4.

Захлопнулась за старшим политруком крышка машинного отделения — в глаза ударил яркий свет электрической лампочки. Пришлось ненадолго зажмуриться.

Очень жарко: давно ли здесь, а по телу уже бегут струйки пота. Пахнет разогретым маслом, бензином. И мотор так тарахтит, что уши ломит.

А когда открыл глаза, увидел мотористов. Оба они стояли у муфты сцепления. Оба в синих комбинезонах, оба с темными от масла и железа руками. Но один из них — белобрысый, веснушчатый — смотрел с любопытством и настороженно, словно ждал, что старший политрук, как и большинство различных поверяющих, задаст какой-нибудь каверзный вопрос.

Зато второй, черный, как жук, держался спокойно и независимо. Как хозяин, которому ничего показать не стыдно.

— Командир отделения старшина второй статьи Фельдман, — прокричал он. — А вы новый комиссар?

— Замполит.

— А это от человека зависит, кем он станет.

Старший политрук не понял, что хотел этим сказать Фельдман, но обстановка не располагала к философской беседе, и он перескочил на то, что сразу бросилось в глаза:

— Почему стоите во весь рост?

— Устав,— пожал плечами Фельдман и добавил: — И не трусы.

— Ссылка на устав — от лени придумана... Разве нельзя работать сидя?

Фельдман несколько секунд удивленно смотрел на замполита, потом показал рукой своему помощнику — присядь! Тот опустил на карточки. Сам Фельдман присел с другой стороны мотора, посмотрел на него, на машинный телеграф. Даже дотянулся до регулировки газа. Встал, выдвинул из угла ящик с инструментом, опустил на него, еще раз осмотрелся и, широко улыбаясь, поднял вверх оттопыренный большой палец.

Невольно улыбнулся и старший политрук. Через силу улыбнулся: мутило от паров бензина, духоты и грохота мотора. И он поспешил выбраться на палубу.

На обратном пути фашисты накрыли катер минами. Осколком одной из них ранило рулевого. И пришлось старшему политруку заменить боевого санитаря, пришлось накладывать повязки. Он же и сдал его санитарям, когда подошли к левому берегу.

Рулевого унесли. Именно тогда в рубку протиснулись мотористы с железными листами настила из своего отделения.

— Куда претесь? Ошалели? — набросился на них мичман.

— Комиссар велел,— лаконично ответил моторист.

А Фельдман, поставив оба листа к фанерной стенке

так, чтобы они были вроде бы ее повторением, затараторил:

— Мичман, ты меня знаешь? Разве Фельдман трепач? Он всегда, если это нужно, говорит только правду! Что такое осколок? Мой папа сказал бы — презренный кусок металла. А я, его сын, отвечаю: осколок — ранение или смерть. Кто видел, чтобы Фельдман раскланивался с осколками? Клянусь Одессой, никто не видел! А ты знаешь, что такое поклясться Одессой?.. Так вот, стоим мы на постах, что те попочки, и вдруг является комиссар. Что он сказал? Похвалил за чистоту? Доказывал, что фашисты вторглись на нашу землю и их нужно вытурить? Нет, он назвал нас дураками! Он прямо сказал: «Неужели, Фельдман, мама родила вас таким идиотом, что вы грудью ловите осколки?» Честное слово, моя мама не виновата!

— Ближе к делу,— нахмурился мичман.

— А я разве уклонился? Назаров, что ты ждешь? Может, тебе, детка, нужно сказать, чтобы ты принес сюда и остальные листы? Или считаешь, этих хватит? Мы с тобой растянем их на всю рубку? Они резиновые?

К приходу старшего политрука вдоль всех стенок рубки, как броня, стояли листы палубного настила. Между ними и фанерой лежали спасательные пояса.

Сделай все это раньше, может, и уцелел бы рулевой?

5.

Еще три рейса закончили благополучно. Если, конечно, не считать за чепе разбитые осколками фонари клотика и сорванный гафель. А сейчас, едва выскочили из-за острова, фашисты обрушили на катер не только огонь пушек, минометов и пулеметов, но и авиацию. Самолеты повисли над Волгой, прицепили к черному не-

бу люстры — осветительные бомбы. Светло так, что видно каждую заклепку. Мичман покосился на старшего политрука, который вместо рулевого стоял у штурвала. Ничего, справляется. Конечно, Гольцов вел катер лучше, но и этот ничего. Даже повторяет команды мичмана, как и полагается по уставу.

Несколько раз звякнули листы палубного настила. Те самые, которые поставили у стенок рубки.

Пулеметные очереди с самолетов дырявили палубу, вздымали фонтанчики рядом с катером, мины и снаряды тоже старались впиться в него, а он по-прежнему рвался вперед, проскальзывал меж столбов воды или нырял от самолетов в дымовую завесу, поставленную бронекатерами. И с каждой минутой все слышнее становился бой. Сомнений не могло быть: в городе началось наступление. И поэтому никто не удивился, что едва катер ткнулся носом в берег, его сразу облепили солдаты, вошли даже в воду, чтобы сподручнее было работать.

По трапу идут раненые. Их необычайно много — с осунувшимися лицами, обмотанных белоснежными бантами, обрывками белья и просто тряпками.

Наконец старший политрук сказал:

— Все, катер переполнен.

Оборвался поток раненых. Взвыл мотор, винт поднял со дна ил. А катер даже не шелохнулся. Будто вмерз в дно Волги.

Несколько раз переложил мичман руль с борта на борт, резко менял ход с полного вперед на полный назад. Не помогло. Тогда вышел на палубу и сказал, стыдясь своих слов:

— Может, сгрузим часть раненых?.. Катер облегчится.

Все катера дивизиона сегодня работают на переправе. Все они ходят по одному маршруту. Только с интервалом. Может, действительно, оставить часть раненых другому катеру?

— Нельзя, мичман,— за всех ответил старший политрук.— Для раненого минута ожидания....

Замолчал старший политрук. И так всем ясно, что пока подойдет следующий катер, окончательно ослабеет кое-кто из раненых.

И психику человека учесть надо. Легко ли ждать? Часами покажутся минуты.

А Фельдман уже кричит:

— Кто купаться — ныряй!

Он прыгает в воду, упирается плечом в борт. Одному нечего и думать сдвинуть катер, но рядом же багровеют от натуги товарищи, старший политрук и незнакомые солдаты, прибежавшие с берега.

Неистово завывает мотор. Из-под винта вырывается взбешенная вода. Люди напряглись — дальше некуда...

Катер дрогнул!

— Пошел, пошел! — кричит Фельдман.

— Ходом, ходом! — вторят многие хриплые от напряжения голоса.

Чуть шевельнулся катер, и вдруг сразу рванулся от берега. Так стремительно рванулся, что кое-кто не удержался на ногах и окнулся с головой. А ведь октябрь не июль, и Волга — не Черное море. Однако никто не жалуется.

Уже на катере старший политрук спросил:

— Ты, Фельдман, член партии?

— Бе-пе.

— Странно.

Вот и весь их разговор. Но Фельдман понял, что это действительно очень странно. Или он, Абрам Фельд-

ман, не согласен с партией? Может, у него с ней разногласия?

Нет у Фельдмана разногласий с партией. Он бы себя на седьмом небе чувствовал, если бы мог с гордостью ответить:

— Коммунист с тысяча девятьсот... года!

Почему же не вступил, не подавал заявления? Все готовился... До смешного глупо: награжден орденом Красной Звезды, люди его считают коммунистом, а он все готовится!

Ша, Абрам Фельдман, ша! Мама родила тебя не таким безнадежным идиотом, чтобы тебе дважды указывали на ошибку!

6.

Разрывы снарядов и мин окружили катер. Осколками в нескольких местах пробиты и спасательные пояса, и листы палубного настила. Непрерывно строчит пулемет: Азанов расстреливает осветительные бомбы, висящие над рекой. Но только рассыплется желтыми слезами одна — вспыхивают несколько других.

Все небо исчерчено трассами, искрится от взрывов зенитных снарядов. А самолеты все ходят, ходят. Иногда спускаются так низко, что видны их силуэты. Самолетам не страшен огонь с катеров: мало на катерах крупнокалиберных пулеметов, а скорострельных пушек и вовсе нет.

Стеной встают разрывы перед носом катера, однако он не отворачивает, словно не видит их ни старший политрук, ни мичман. Нет, они прекрасно все видят. Но что им остается делать? Разрывов такое множество, что не знаешь, как и куда маневрировать. Одна надежда на

спасение — густая дымовая завеса. Только дотянуть бы до нее!

За несколько последних минут старший политрук осунулся, спал с лица, щеки его пообмякли. Мичман заметил даже и то, что он навалился на штурвал — «брюхом рулит», как говорят моряки. И все же не делает замечаний, не находит в этом ничего позорного: с любым человеком, впервые попавшим в такую передрагу, конфуз может случиться. Кроме того, это тебе не парад, где выправка и внешний вид — главное всего. Здесь война, здесь смертный бой.

Вдруг катер будто зарылся носом в волны, завяз в черной воде. Лишь зыбь покачивает его. Да за рубкой ярится пулемет Азанова.

— В машине! Что случилось? — спрашивает мичман в переговорную трубу.

— Вода заливает! Страсть, как хлещет!

Отвечает Назаров. А где же Фельдман?

Но спрашивать об этом некогда: из кубрика уже лезут раненые. Главное сейчас — пресечь панику, и мичман орет:

— Марш обратно! Кто сюда сунется — морду в кровь исхлещу!

Раненые еще недавно не были трусами. Но катер для них место новое, непривычное. Вот и боязно. А тут еще и вода из-под сланей пошла. Разве усидишь? Когда ты ранен, когда твоя жизнь в опасности — жить во много раз больше хочется...

Спасибо командиру катера, успокоил: раз сам стоит в рубке, да еще грозит в морду дать — значит, ничего страшного. А что вода пошла... Может, так и полагается?

— Сходи, мичман, в кубрик, успокой людей, распорядись, — говорит старший политрук.

— Вам сподручнее...

— Я не прошу, а приказываю.

Мичман ныряет в люк кубрика, а старший политрук достает носовой платок и вытирает лоб, покрытый нехорошей липкой испариной. В это время рубку заволакивает дымом. В нем захлебывается пулемет Азанова. Неужели проскочили в завесу? Только подумал так — в рубку ввалился Фельдман. Он сначала откашлялся, несколько раз чертыхнулся и лишь потом спросил:

— Кто здесь?

— Я.

— Комиссар?.. Катер, как решето моей бабушки... Сбросил дымовую шашку, может, обманем гадов, проскочим... Вы сейчас держите чуточку правее, а потом все прямо, прямо!.. Сейчас ход дам.

Буроватые клубы дыма обтекают рубку и не поймешь — то ли сам движешься или дым ветер несет мимо тебя.

Еще правее или уже прямо?..

Попросить полный вперед, чтобы хоть что-нибудь увидеть? Нельзя: при большой скорости и вовсе не справятся с откачкой воды. И сейчас-то раненые ведрами, касками, котелками и даже кружками вычерпывают ее. Ишь, как скребут...

Все сейчас борются за жизнь катера. Только он с Назаровым на боевых постах. Назаров следит за моторами, а он ведет катер. Куда ведет? Кажется, прямо. Кажется, к левому берегу.

7.

Дым начал редеть. Впереди и вдоль левого борта — темная полоска берега. Выходит, он так забрал вправо, что катер идет почти по течению.

Старший политрук перекладывает руль левее и выбирает место, куда пристать. Наконец, находит песчаную косу. На нее можно выбрасываться спокойно: здесь катер не затонет и в том случае, если пробоины даже не удастся заделать.

— Правильное решение,— одобрил мичман, когда осмотрелся.— Теперь наш тралец оживет, мы его подлатаем...

— Дай бинт,— просит старший политрук.

Мичман вскидывает на него глаза. Так вот почему осунулся комиссар!.. Так вот почему он и в кубрик не пошел, а его послал!..

— Комиссара ранило! — кричит мичман.

Первым в рубку ворвался Азанов. Он закинул руку старшего политрука себе на шею и спросил:

— Шагать можешь?

— Куда ему шагать, если в обе ноги. Ладно, что еще стоит,— ворчит мичман, который уже бесцеремонно распорол одну штанину и накладывает тугой жгут на ногу комиссара.

— Растерялись? Не знаете, что делать? Честное слово, включи в Одессе все прожекторы мира — таких идотов не найдешь! — злится Фельдман. Он бросается в кубрик и возвращается оттуда с одеялом.

На одеяле вынесли старшего политрука на берег, прислонили спиной к молодому дубку. Потом мичман начал более капитально перевязывать ноги замполита, а остальные — Азанов, Фельдман, Назаров и некоторые солдаты — понимающе переглядывались и говорили совсем не то, что думали:

— Царапины!

— Недели через две плясать будет!

Старший политрук понимал, что это самая наглая ложь, он уже сам убедился, что одна нога перебита

окончательно, а вторая — терпимо, но был благодарен людям; ведь они переживали за него, ведь они и врили лишь для его спокойствия.

Потом был общий перекур. Сидели и лежали на сырой земле, думали, что делать теперь. До тракта — километров пять, а лежачих раненых столько, что одного придется оставить, если идти к тракту. И еще одного здорового. Чтобы охранял катер и смотрел за раненым. Ведь над катером советский военно-морской флаг. Его никак без часового оставлять нельзя.

— Я за то, чтобы немедленно трогаться. Когда нас еще здесь заметят, когда раненых в госпиталь доставят... На тракте любая машина подбросит, — сказал старший политрук.

Еще немного поспорили для вида, но так и решили: идти немедля ни минуты.

— Азанов, останешься на катере, — приказал мичман. — А из лежачих сами выбирайте.

Не хочет мичман называть того раненого, которому придется лежать здесь и ждать. Конечно, есть и такие, что и сейчас уже без сознания, эти возражать не станут, но есть у человека и обыкновенная жалость. Мичман хочет, чтобы за него решили другие.

— Я с Азановым останусь, — говорит старший политрук.

Короткая пауза и Фельдмана прорвало:

— Вы слышали? Он думает, что сказал что-то умное! Или мы пешки?

— Разговорчики! — повысил голос старший политрук.

— А чего говорить? Забирай, ребята, комиссара, и точка! — разозлился Азанов.

Старший политрук достал пистолет, снял с предохранителя.

— За невыполнение приказа, могу и застрелить.

Сказал так спокойно, что ему поверили.

— Так, значит?! Что ж, прощай Одесса! Или мы не люди?

— Не дури, Фельдман, не маленький... Сам себя уважать перестану, если кто другой останется... Только, устройте меня поудобнее...

8.

Старший политрук сидит, навалившись спиной на молодой дубок. Светает. Над рекой медленно плывет туман, густой и низкий. Высок ли берег, а он, Векшин, уже над туманом. И флаг катера тоже. Будто над облаками реет флаг.

А матрос Азанов все еще сердится, не может простить ...Хотя сам, наверняка, поступил бы так же... Нет, ты не спорь, Азанов, не спорь. Я уже разгадал тебя. Ты для другого человека все отдашь...

Почему мы так любим это выражение — для другого человека? Даже в газетах пишут, что такой-то пожертвовал своей жизнью, спасая другого человека.

Правильнее сказать — выполняя свой долг. Долг советского человека.

Вот и он, Александр Петрович Векшин, член партии с тысяча девятьсот тридцать пятого года, остался здесь лишь для того, чтобы выполнить свой долг. Как коммунист, он был обязан поступить только так.

Ноги начали сильно болеть. Там, на катере, боль была какая-то тупая, как от сильного ушиба. А сейчас...

Лучше думать о другом...

Жаль, что придется покинуть дивизион: народ здесь хороший, с ним работать можно. И комдив хорош, с характером, а не флюгер...

А здорово он любит своего бывшего заместителя. Так и врезал: «Быстро же вас прислали!»

Это очень хорошо, когда человек умер, а его по-прежнему любят. Значит, правильно, достойно вел себя при жизни... А вот он, Векшин, в этом дивизионе фигура эпизодическая: вечером пришел, утром не стало... Не повезло...

9.

На ветку дуба села синица, наклонила голову. Она рассматривает человека. Он почему-то полусидит среди одеял и подушек, полусидит и даже не шевелится. Притворяется или действительно безопасен?

А ну его!

И синица улетела.

Александр Петрович проводил ее глазами. Жаль, что улетела. Что ни говорите, а она живое существо, глядя на нее, можно отвлечься, забыть про боль в ногах. Она скоро станет просто невыносимой...

Интересно, почему листья дольше всего держатся на вершинах деревьев? Им бы, кажется, первыми облетать, а они держатся... Обязательно нужно спросить у специалиста, может, позднее, и его кто спросит...

Сколько времени назад ушли матросы? Жаль, что по часам не заметил... Сейчас раненые, наверное, уже в госпитале, их перевязывают... Нет, скорее всего, матросы еще только подходят к тракту. Пока поймают машину, пока доедут до госпиталя и сдадут раненых, а потом и сюда вернутся — уйдет уйма времени.

Только бы не больше четырех часов! За четыре часа, говорят, нога мертвоет под жгутом. Если же омертвоет...

Он шевельнулся и сразу за спиной голос Азанова:
— Что-то нужно, товарищ комиссар?

— Ты здесь? Давно?

— Взглянул на катер и сюда. Думал спите, ну и за-таился.

— Нет, я не спал. Думал.

— Тише! — перебил Азанов и даже вскочил.

В лесочке стрекочут сороки. Рвутся бомбы в городе... Хотя...

Теперь явственно слышен гудок машины. Она гудит почти непрерывно и все ближе, ближе.

— Наши! Честное слово, наши! — ликует Азанов.

А вот и машина, обыкновенная полуторка. Она вывалилась из леса и несется по полянке. В ее кузове, обляпав ручищами кабину, стоит командир дивизиона.

10.

— Ты что же, комиссар, подводишь дивизион, а? — оглушает басом комдив. — Только пришел, только узнали тебя, а ты сразу и в госпиталь?

— Вы же знаете, не нарочно...

— Не выкай. Зови меня Федором Григорьевичем или просто Федя. Договорились? А тебя как величать?

— Александр... Саша...

— При матросах Сашкой звать не буду. Отчество?

— Петрович.

— Так вот, Александр Петрович, как поправишься — полным ходом в дивизион. Так и запомни: жду тебя комиссаром!

— Сам знаешь, нет теперь комиссаров.

— Вот и врешь! Это институт комиссаров упразднили, а комиссаров... Называй ты их замами, помами или еще как — хорошего человека матросы все равно комиссаром величать будут. Понимаешь меня?.. Ну, таким

человеком... Чтобы ни бога, ни черта не боялся, любое черновое дело знал и вел народ за собой!.. Ты не подумай, что я болтун. Тороплюсь, вот и стреляю очередями. Сам понимаешь — дивизион! Тут глаз и глаз нужен... А за тебя, черта, еще и политинформации проводить придется!.. Да ты не хмурься: я выдюжу. Наша порода, как дед говорил, могучая!.. Значит, договорились? Вернешься?

Рядом стояли Азанов, Ткаченко и Фельдман. Они тоже ждали ответа.

— Ладно.

— Порядок! — Первушин сунул свою лапищу Векшину, но на полпути передумал. Он просто обнял нового друга, ткнулся подбородком ему в щеку.— Ну, быстрей поправляйся, комиссар Сашка... И сразу сюда. А назначение соответствующее тебе будет, об этом не беспокойся. Я такой концерт закачу начальству в политотделе, что уважат просьбу!.. А ты не передумаешь?

— Сказал же, вернусь!



ДУША ЧЕЛОВЕКА

Меня разбудил начальник штаба. Перед этим мы трое суток были в бою, спать сейчас мне хотелось смертельно, но как только я понял, что рядом с нами ночевал штрафной батальон, что там чепе—сонливость, разумеется, исчезла. Я тер-

пеливо оделся и зашагал к лесу, где ночевал батальон штрафников.

На душе было тревожно: что ни говорите, а находились мы в Польше, ходили по чужой земле, за каждым нашим шагом придирчиво следили глаза людей, которым каких только сказок про нас не наговорили. Кроме того, были здесь и враги. Дал промашку — они воспользуются и прощай жизнь.

Что же случилось в штрафном батальоне? Не нужна ли помощь моей части?

Вот, примерно, то, о чем я думал, спеша в батальон.

На опушке леса плотным четырехугольником стоял батальон. Перед строем — офицер с погонами майора на плечах. Он говорил. Говорил гневно, изредка взмахивая кулаком.

Когда я подошел, он мельком глянул в мою сторону, чуть заметно кивнул и продолжал:

— Еще при первом знакомстве я сказал вам, что не буду вспоминать ваши прошлые грехи, что вы будете для меня обыкновенными солдатами. Говорил я вам это? — повысил голос майор.

Батальон глухо ответил:

— Говорил...

— Сдержал я свое слово? Хоть одному человеку напомнил о том, что он преступник, которому Родина дала еще одну возможность стать человеком?.. Чего молчите? Напоминал о прошлом или нет?

— Нет, не напоминал,—опять глухо ответил батальон.

— Так и должно быть: я хозяин своего слова...

И только тут я заметил, что у майора лицо будто высечено, вернее, отлито из какого-то металла, который сохранял на себе и летний загар, и силу ветров, вечных спутников солдата. Майор был высок, шинель сидела на

нем хорошо, плотно облегая его широкие и чуть пока-
тые плечи. Чувствовалось, что майор силен и знает об
этом.

Вот только глаз майора я не мог увидеть. Они пря-
тались в тени, падавшей от козырька фуражки.

—...Но я предупреждал вас, что не потерплю банди-
тизма! — гремел голос майора.— И дело не в том, буд-
то мне завидно, что какой-то гад разбогатеет за счет
чужого пиджака! Дело в том, что это опозорит нашу
армию! Правда, одна сволочь не украдет от нее славы,
но грязное пятно наложит... Все было хорошо. И вдруг
сегодня ночью, накануне боя, который вернул бы вам
честное имя солдата, у нас в батальоне чрезвычайное
происшествие.

Майор замолчал. Создавалось впечатление будто он
думал, а говорить ли о том, что случилось ночью?

Батальон стоял не шелохнувшись.

— Чередниченко, Воловик и Никонов. Выйти из
строя! — как кнут, хлестнула команда.

Три солдата вышли из строя. Остановились. Лица у
них были серы. И вообще все сейчас было серым. И лес,
с которого ноябрьские ветры сорвали последние листья,
и трава, пожухлая от утренних заморозков, и ровный
строй батальона, застывшего на опушке.

— Вот эти трое сегодня ночью ограбили поляка,—
продолжал майор.

Теперь голос его был спокоен и от того становилось
еще тревожнее. словно тяжелая грозовая туча нависла
над опушкой леса.

— Они запятнали честь советского солдата. Они этим
поступком доказали, что не поняли уроков прошлого...
Разве не за бандитизм они попали в штрафную? За бан-
дитизм!.. И еще одна заковыка... Почему до сегодняш-
ней ночи они вели себя как овечки? Почему? Отвечу.

Там, где мы шли, был трибунал. Встретаться с ним они не хотели. А сегодня мы вступим в бой. Сегодня кто-то из нас умрет... А раз смерть рядом, то эти и решили, что лучше вернуться к трибуналу и сесть за решетку. Так они намеревались дезертировать от нас!

Словно прошелестел батальон. Я так и не понял, был ли это иронический смешок или гневный ропот. Лица солдат остались бесстрастными. Только глаза горели.

— Так вот,— продолжал майор,— отправлять их в трибунал не буду. Они уже в какой раз совершают тяжчайшие преступления. Они будут расстреляны здесь.

Слова майора падали в настораживающую тишину. Они будто впитывались серым прямоугольником батальона. Даже ворона, усевшаяся на ветке дерева, перестала вертеть головой, замерла, уставившись глазами на людей.

И вдруг одинокий голос:

— А Чередниченко зря.

— Кто сказал? — встрепенулся майор.

Из строя вышел солдат.

— Я сказал, товарищ майор. Молодой он. Сбили его с толку.

— Правду он говорит? — повернулся майор к батальону.

Батальон зашумел. Стало ясно: солдаты за Чередниченко.

— Становись в строй, Чередниченко,— бросил майор, и мне показалось, что голос у него радостно дрогнул, лицо стало мягче.

— Спасибо вам,— тихо сказал солдат.

— Не меня, а их благодари,— сухо оборвал майор.— Они тебе сегодня жизнь спасли, они с тебя и спросят.

Чередниченко почти побежал к батальону. Тот принял его.

— А эти? Может, их тоже под защиту возьмете?
Молчал батальон. Только ворона робко каркнула.

— Отделение автоматчиков ко мне.

Бесшумно вперед вышло десять человек. Они остановились чуть в сторонке. Нет, у них не бегали глаза, у них не дрожали руки: они поняли всю необходимость того, что должно было свершиться их руками.

— Дать лопаты, пусть роют могилы.

С осужденных сняты ремни, сорваны хлястики. Шинели стали похожи на балахоны. Недавние солдаты превратились в бездомных бродяг, у которых нет никого близкого.

Майор подошел ко мне, устало пожал руку. А еще через несколько минут я узнал, что осужденные — отъявленные негодяи. Особенно Никонов. Он за свою короткую жизнь судился уже семь раз и три из них — в армии: за дезертирство и за попытку убить товарища, с которым был в секрете.

— Часы у того хорошие были, — пояснил майор. — Ну, разве воспитаешь из него человека? Да никогда!

Я уже другими глазами посмотрел на Никонова. Мне стали противны и его рыжие вихры, торчащие на затылке, и жилистые руки, сжимающие лопату.

А земля падает с лопат, падает...

— Воловик, ты почему не копаешь? — спрашивает майор.

— Мне и такой ямки хватит, — отвечает тот, очищает палочкой грязь с лопаты и неторопливо садится на холмик земли, выброшенной им из неглубокой могилы. — Никонов вон и за меня старается.

Действительно, тот уже с головой ушел в землю. Он будто хочет вырыть подземный ход, которым можно будет убежать от людей, справедливо ненавидящих его.

Никонова силком вытащили из ямы.

Короткая команда:

— Раздевайтесь!

Воловик сбросил с плеч шинель, швырнул на нее гимнастерку, шаровары, и по привычке стыдливо прикрылся рукой.

Никонов тянет время: его пальцы путаются, мешают друг другу; он излишне долго укладывает гимнастерку и шаровары. Я чувствую, что это не привычная аккуратность, а все тот же страх перед смертью.

Я начинаю дрожать от ненависти к этому подлецу и трусу.

Кажется последняя минута.

— Есть просьбы?

— Есть,— поспешно отвечает Воловик и вытягивается так, будто на нем не нижнее белье, а полная парадная форма.— На приговор не обижаюсь... Сам напросился... Если можно, напишите домой, что погиб в бою... И закурить бы...

Гнетущая тишина висит над лесом, над опушкой. Теперь уже несколько ворон сидят на голых ветвях дерева и смотрят на людей.

— Хорошо... Напишу, что умер, как человек,— отвечает майор.— А ты, Никонов?

Я не помню, о чем просил Никонов. Да и не просьбу он высказывал. Все его вопли были о желании жить, о том, что он согласен десять лет сидеть в самой строгой тюрьме, только бы не умереть сегодня.

Мне стало невыносимо смотреть на этого подлеца, ползающего около ног людей, хватающегося скрюченными пальцами за их сапоги. Я отвернулся.

До чего гадок этот слизняк! Даже трудно поверить, что он жил среди нас, что это ему говорили теплое слово — товарищ!

И тут Никонов вскрикнул. Я обернулся. Никонов се-

кунду смотрел на неумолимого майора, потом побежал. Побежал не в лес, до которого было несколько метров, а прямо на строй батальона. Он бежал, размахивая руками. Я видел его черные от земли ступни, быстродвигающиеся лопатки.

Вот и серая стена батальонных шеренг. Она дрогнула, расступилась. В этот коридор, стенами которого были люди, и бросился чужой для них человек. Я понял, сердцем почувствовал, что он был именно чужим: ни один солдат не протянул к нему руки, чтобы остановить его. Солдаты брезговали прикоснуться к нему.

Как на учении, развернулись автоматчики. Злые, короткие очереди хлестнули в спину беглеца. Он упал. С криком взмыли вороны с голых ветвей дерева.

Строй батальона смешался на несколько минут. Все смотрели на беловатое пятно, застывшее на серой земле.

А потом вспомнили о Воловике. Оглянулись. Он по-прежнему сидел на холмике земли, по-прежнему курил.

Майор подошел к нему, остановился. Воловик торопливо сделал несколько затяжек, швырнул окурок в яму и встал.

— Ну, чего на меня глаза таращишь? — набросился на него майор. — Одевайся!

Да, до этого Воловик был бледен, но теперь его лицо стало похоже на неподвижную маску. И если бы не слезы, брызнувшие из глаз, можно было бы подумать, что перед тобой стоит мертвец, вылезший из этой ямы.

— Верю, человеком будет, — убежденно сказал майор, когда Воловик убежал в строй.

Майор сдвинул фуражку на затылок, и я увидел, что глаза у него карие и очень добрые.

СОЛДАТСКАЯ БИОГРАФИЯ



Еще вчера небо было в грязных хлопьях разрывов зенитных снарядов, еще вчера на нем черными шлейфами дыма расписывались горящие немецкие и наши самолеты, еще вчера здесь, казалось, стреляла сама зем-

ля, а сегодня — тишина. До звона в ушах тишина.

И это не случайно: вчера к вечеру мы овладели городом Сероцк, дома которого лепились к горе правого берега польской реки Нарев. Сегодня мы заслуженно отдыхаем, то есть чистим оружие, заделываем наспех пробоины в бортах катеров и латаем обмундирование там, где его коснулись осколок или пуля.

А первым делом мы похоронили наших товарищей. Похоронили утром, когда солнце, поднявшееся в родной нашей сторонке, смотрело прямо в свежую братскую могилу.

На могиле установили некрашенный обелиск и химическим карандашом перечислили на нем всех тридцать семь русских парней, что пали в бою за свободу человечества, пали на этом клочке польской земли. Мы не произносили пышных речей, не клялись отомстить за их смерть: к этому времени мы похоронили очень многих товарищей, с которыми шли сюда от стен Сталинграда, к этому времени мы уже хорошо знали, что никакие самые красивые слова не заменят живого дела. Вот поэтому и чистили оружие, заделывали пробоины в бортах

катеров и латали обмундирование. Мы не намеревались остановиться окончательно на берегах Нарева, на меньшее чем Берлин мы в душе не были согласны.

А под вечер, когда все, что можно, было починено и залатано, мы собрались около дота, развороченного бомбой, собрались на партийное собрание. На глыбе бетона, из которого торчали погнутые, скрюченные взрывом железные прутья арматуры, сидел наш парторг — старший лейтенант Нифонтов. Он наш до последней своей косточки: вместе с ним воюем с 1941, в каких только передрягах не бывали и абсолютно все знаем друг о друге. Обычно даже зовем друг друга только по имени. Но, разумеется, не в официальной обстановке. Тут мы — само воплощение устава.

Я с матросами сажу перед разбитым дотом на траве, в которой поблескивают патронные и снарядные гильзы. Завтра их подберут дотошные интенданты, чтобы сдать вместо тех, которые мы утеряли в бою. Но сегодня гильз много; рябит в глазах, как в иное место глянешь.

— А теперь, товарищи, заявление старшего матроса Калугина Александра Ивановича. Он просит принять его кандидатом в нашу Коммунистическую партию, — говорит Нифонтов.

Калугин встает, почему-то снимает бескозырку и мнет ее в руках. Товарищи смотрят на него строго, ни одного смешка, ни одной реплики, до которых все обычно охочи.

— Пусть биографию расскажет, — просит Абанькин — матрос с того же катера, что и Калугин; вместе два пуда соли съели, вместе воюют с 1942, а теперь подавай биографию!

Калугин — невысок. Плечами тоже похвастаться не может. Одним словом, по внешности — юнец, а не матрос пятого года службы. Вот только обмундирование на

нем подогнано и выютюжено, как это умеют делать только настоящие моряки.

— Биография у меня, значит, такая,— начал он сиплым от волнения голосом, откашливаясь в бескозырку,— родился в двадцатом году на станции Чусовская. Окончил семь классов... Больше на «пос» учился... Потом работал слесарем в электродепо. В одна тысяча девятьсот сороковом вступил в комсомол... А как война началась, на фронт пошел... Вот и вся биография.

Вздыхнул с облегчением.

— Вопросы к товарищу Калугину? — спрашивает Костя Нифонтов.

В той стороне, где затаилась крепость Зегже, лупят пушки. По звуку — наши. А фрицев не слышно. Доканали мы их, выдохлись!

Не один Александр Калугин, многие обычно так же о себе рассказывали.

А мне обидно за них, я воспользуюсь своим правом и сам дополню Калугина.

С чего начать? Калугин закончил так: «Потом я пошел на фронт».

Это было в 1941 году. Небо в те дни казалось вот-вот брызнет кровью, таким багровым оно было от многих пожаров, что с земли накаляли его сутками. С обломленными ветвями, расщепленные, будто жеванные стальными зубами, стоят деревья на берегу речушки. На карте она обозначена голубым волоском без названия, а в жизни — мутный ручьишко, спрятавшийся в трещину с обрывистыми берегами.

Здесь, на берегу этой речки-ручья, вторые сутки держит оборону наш батальон морской пехоты. Вернее, не батальон, а то, что от него осталось: сорок пять матросов и старшин и я — единственный из уцелевших пока командиров. Нас сорок шесть, но по молчаливому уго-

вору мы решили стоять здесь сколько сможем; нам кажется, что мы последний заслон на пути фашистов к Ленинграду, и этим все сказано.

Помню, мы пришли сюда ночью и сразу, даже без короткого перекура, стали готовиться к бою: рыть окопы, выбирать ориентиры, распределять секторы ведения огня.

И еще помнится, на востоке уже начали светлеть облака, а окопа еще не было. Вместо него — сорок шесть ячеек. Лишь с колена можно стрелять из них, так они мелки.

А немцы, как обычно, полезут с шести часов, эту их особенность мы уже хорошо усвоили. Значит, в нашем распоряжении около двух часов тишины. Надо бы подналечь, поднавалиться, но сил нет: позавчера и вчера были бои, потом ночные переходы на новые позиции, почти трое суток без сна, без горячей пищи, на случайных сухарях.

Но мы все же вгрызаемся в каменистую землю, из последних сил. Нам приказано здесь удерживать немцев целый день, только с наступлением ночи мы имеем право отойти. И будет только так, ни минутой раньше не тронемся с места.

Кроме того, нам надоело отступать, хотя нас и мало, но в душе каждый из нас таит надежду, что может на этой речушке и будет наконец-то остановлен враг.

Рядом со мною рыл ячейку Александр Калугин. Я нарочно так распорядился: он самый молодой из нас, я мало верю в него.

Калугин упорно долбит лопатой землю, хотя видно, что он с минуты на минуту может в изнеможении грохнуться на землю. И после этого не скоро встанет.

Чтобы подбодрить его, говорю глупость. Вернее, я потом понял, что это глупость:

— Оборона, Калугин, дело важное. Зароемся в землю — и смерть не страшна...

— А я и не боюсь.

В его голосе не было ни страха, ни растерянности. Ответил человек, уставший — дальше некуда.

Еще помнится, мне стало неловко за то, что я сказал глупость...

А потом, ровно в шесть, немцы сначала, как это уже было не раз, засыпали наши ячейки минами, снарядами. Им должно быть казалось, что мы все убиты, срезаны под корень и расщеплены, как деревья, и они пошли в атаку. Мы подпустили их метров на двести и враз ударили из пулеметов, автоматов и винтовок. Сорок шесть человек стреляли, веря в свою победу, и поэтому — метко.

Тогда, откатившись, немцы бросили на нас семерку бомбардировщиков. Эти прекрасно знали наше вооружение и поэтому шли так низко, что мы видели, как каждая черная бомба отделялась от самолета.

И еще самолеты торопливо и злобно тявкали из пушек, пулеметными очередями срезали брустверы наших ячеек. Добавьте к этому, что взрывы бомб вздыбили землю и воду, и тогда представите, как «весело» нам было. Солнце казалось мутно-красной тарелкой.

У нас появились раненые. Были и убитые.

Одним из первых ранило Калугина: осколок впился в левую руку. Я перевязал Калугина и разрешил:

— Отходи, пробирайся к тылам.

Но он никуда не ушел, остался с нами.

Весь день немцы лезли на нас. Последнюю их атаку мы отбивали гранатами, ножами, прикладами. Отбили.

Потом шли всю короткую ночь. Шли, чтобы соединиться со своими. Теперь нас было только четырнадцать. С нами шел и Калугин.

За сорок первым подкрался сорок второй год. Он тоже был дьявольски трудным для нас: немцы вышли к Сталинграду, ворвались на его улицы. Чтобы хоть немного ослабить напор врага, наше командование решило донимать их воздушными десантами. В десантники, как особое поощрение, брали только лучших. Мы рекомендовали Александра Калугина.

После выполнения задания он вернулся к нам с орденом Красной Звезды.

— За что наградили? — конечно, спросили мы.

Он ответил очень уклончиво:

— В Наградном все обсказано.

Командовал тем воздушным десантом, с которым уходил Александр, старший лейтенант Белоцерковский. И вот что я от него узнал.

Оказывается, Калугину было приказано взорвать мост и после этого заминировать дорогу, по которой к Сталинграду шли немецкие резервы.

Задание обычное для того времени.

Когда распахнулся люк, Калугин, как мне рассказывал Белоцерковский, торопливо подошел к нему и нырнул в грохочущую черноту.

Еще в воздухе проверил, хорошо ли закреплено оружие, не выпало ли что из карманов и стал всматриваться вниз, откуда черной горой наваливалась земля.

Ударившись о землю, упал. А когда сел... то прямо над собой увидел немецкого солдата, который направил автомат ему в грудь.

Что делать? Одно движение — немец прошьет очередью...

Только не отказываться от надежды!

— Встать! Руки вверх! — приказывает немец и чуть приподнимает ствол автомата. Будто в самое сердце целится.

Калугин поспешно встает, вроде бы — с готовностью поднимает руки.

Немцу нравится поспешность русского, но он командует:

— Брось оружие!

Может, это тот самый подходящий момент, который должен использовать ты, матрос Калугин? Может, другого и не будет?

Нет, подожди, Сашка, сейчас немец с тебя глаз не сводит...

И падают на землю, твердую как камень, автомат, гранаты и даже нож десантника.

Немец снисходительно улыбается, делает шаг вперед, чтобы обыскать русского.

И тут Калугин смачно харкнул в глаза немца. Да, да, просто харкнул, а тот, успокоенный покорностью русского, уверенный, что пленный в его руках, разумеется, не ждал ничего подобного. Поэтому отшатнулся. На одно мгновение снял руки с автомата, прикрыл ими лицо.

Этого мгновения оказалось достаточно Саше Калугину, чтобы вернуть себе свободу.

Но и эти два случая еще не вся твоя солдатская биография, Саша Калугин.

Давай заглянем еще хотя бы в сорок третий год?

Пятые сутки рвутся бомбы и снаряды. Пятые сутки мы сдерживаем фашистские дивизии, которые с отчаянием обреченных пытаются прорвать наш фронт.

Пятые сутки земля дрожит от тяжелой поступи танков, а в воздухе снуют сотни самолетов. Может, и тысячи: нам считать некогда, но что их полно в небе кружилось, это не только видели, это на своей шкуре испытывали.

Такой в те дни для нас была битва, которую историки позднее назвали Курской.

Окоп старшего матроса Калугина хорошо виден с моего КП. Калугин — истребитель танков. Он обязан, когда появятся немецкие танки, встретить их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Вернее — он уже не раз их встречал так за эти пять дней. И три даже уничтожил.

Ночью, когда смолкло последнее осипшее за день орудие, я решил пройтись по окопам, поговорить с товарищами, посмотреть, где и что случилось. Конечно, заглянул к Калугину.

— Слышите, товарищ капитан-лейтенант? — встретил он меня вопросом.

Я прислушался. Ночь как ночь. Пахнет сгоревшей взрывчаткой и остывающим железом.

И вдруг я услышал голос. Кричал немец. Между нашими и немецкими окопами. На помощь звал.

— Не добили гада, — заметил Калугин. В его голосе слышалось только раздумье. Человеческое раздумье над судьбой другого человека.

Крик немца слышали многие, он всех волновал. Командир роты даже приказал:

— Прекратить освещение переднего края!

Он дал немцам возможность подобрать своего раненого. Я мог бы своей властью отменить его приказание, но не сделал этого: я видел от немцев много зла, не испытывал к ним жалости в бою, а вот сейчас, как и остальные мои товарищи, хотел, чтобы того дурака поскорее унесли с поля недавнего боя.

А немец все звал товарищей. Долго звал...

— Уши они там позатыкали, что ли? — злился Калугин.

Лопнуло терпение и у командира взвода, он закричал:

— Забирайте раненого, мы стрелять не будем!

Молчали немецкие окопы, будто вымерли.

Все жалобнее и слабее кричит тот...

— Не стреляйте! Мы его сами вытащим! — теперь уже этот вариант предлагает командир взвода.

У меня еще звенело в ушах от его крика, а десятки ракет уже взвились из немецких окопов. В их неровном мерцающем свете видны разбитые и обгоревшие танки, искалеченные орудия и трупы. Много трупов накопилось на ничьей земле за эти пять суток. И где-то среди них валяется тот немец, что зовет на помощь. Зовет настойчиво, заклинает именем матери.

Огонь немцы ведут такой, что воздух стонет от пуль и осколков. Разве высунешься из окопа в таком аду?

И снова был день. Снова фашисты лезли на нас, и снова мы сокрушили их.

Едва стихла ночная пальба, мы стали вслушиваться в ночь. И слышали:

— О-о-о... Муттер...

Теперь изредка и слабо звал раненый.

У каждого из нас была мать. И каждый из нас по-своему любил ее. Мы, взрослые мужчины и солдаты, всегда вспоминали о ней в самые тяжелые минуты. И мы понимали раненого немца.

А еще немного погодя стоны прекратились, зато легкий шумок прошелестел с той стороны, где был окоп Александра Калугина. Я заметил, что кто-то побежал туда. В чем дело? И я пошел следом.

В окопе я, прежде всего, увидел нашего врача, а затем немца, откинувшегося на чьи-то ноги.

Рядом стоял Калугин. Встретив мой взгляд, он потупился. Похоже, он чувствовал себя виноватым. Но перед кем? Мы его не осуждали. Может быть, перед своей матерью? За то, что рисковал ее счастьем, спасая врага?

Не знаю. Только, как мне кажется, ни одна мать не осудила бы его: у матери всегда преогромное сердце.

Мать Саши Калугина... Я не встречался с нею, но ее письмо и сейчас у меня перед глазами. Вот оно: «Дорогой наш ненаглядный сыночек Саша! Материнское спасибо тебе за слова ласковые, что в письме прислал. Прочитала я их и все плачу от радости, что не забыл ты меня, старую, что заботишься обо мне, хотя над тобой самим смерть хороводом ходит. И за деньги тебе спасибо. Коляшке с Татьянкой учебники будут, за что они и шлют низкий благодарный поклон тебе, старшему братику...».

Саша! Александр Иванович Калугин! Вот это и есть страницы твоей биографии, а вовсе не то, что ты сказал. Прошу тебя: немедленно расскажи все это товарищам. А потом пусть они и решают, достоин ты быть коммунистом или нет.

МАЯК ПОБЕДЫ

1.

Маленькая надувная лодка плавно покачивается на пологих волнах. Ее низкие борта чуть возвышаются над свинцовой водой Финского залива. В лодке сидят три матроса. Двое напряженно всматриваются в ночь, третий — ритмично вздымает короткие весла.

Тучи плотной пеленой висят над морем. За ними прячутся и луна и звезды. Косой дождь настойчиво, нудно



барабанит по звонким бортам. И сколько ни всматривайся — кругом только волны, рябые от дождевых капель. Они вырастают за кормой лодки, нависают над ней. Кажется, что именно вот эта волна перевалит через низкий борт, захлестнет лодку, и тогда — конец. Но и эта волна, как другие, лишь приподнимает моряков и убегает дальше. Волны быстро бегут одна за другой, и от этого морякам кажется, будто бы их скорлупка стоит на месте, хотя прошло уже больше часа, как отвалила она от подводной лодки.

И больше часа гребет матрос Зураб Кичахмадзе. Пот катится по его лицу, порой застилает глаза. Бушлат, стянутый ремнем, на котором висят автоматные диски и гранаты, сковывает движения. Зураб устал, но не просит сменить его. Да и некому. На корме сидит старшина первой статьи Лобанов — командир этой маленькой группы; у него в руках шлюпочный компас, по которому он определяет курс. Где это видано, чтобы командир греб, а матрос курс указывал? На носу лодки, сразу за спиной Зураба, устроился радист Губенко. Этому устав запрещает браться за весла: устанут руки и тогда он такую тарабарщину начнет ключом выстукивать, что ни один радист не примет.

Зураб старается не думать об усталости. Его беспокоит одно: не сбились ли они с курса? В такую погоду, да еще на такой посудине — это запросто может случиться. А тогда... Проскочит лодка мимо острова — и прямо в лапы к фашистам!..

Зураб не новичок на фронте, не трус. Воевать он начал с сорок второго года, был под Сталинградом, в Онежской флотилии, а оттуда попал на Балтийский флот. И никогда его не могли упрекнуть в трусости, везде он честь берег больше жизни.

Был он и артиллеристом, и пехотинцем, и разведчи-

ком, и истребителем танков. Даже в кавалерии прослужил два месяца. Многое он повидал за годы войны, а вот страшновато ему. Не за жизнь свою боится. Страшит другое: если проскочит лодка мимо островка — некому будет выполнить задание командования, и многие товарищи зря погибнут. Почему? Тяжело плавать по Финскому заливу даже в мирные дни: на каждой миле подстерегают камни и мели. Одно спасение — внимательно следить за маяками, по ним определять точное место корабля. Но за годы войны взорвали маяки. Как теперь кораблю найти дорогу? Только на точность приборов и надеяться.

А немцы набросали в Финский залив магнитных мин. Большие, способные переломить корабль, как щепку, они смирихонько лежат на илистом дне и подстерегают жертву. Вот и перед этим маленьким островком минное поле. Над ним идет сейчас резиновая лодка. Какие стоят мины, сколько их — знают только фашисты и волны, вечно бегущие куда-то. Но волны молчат, а у фашистов не спросишь. Значит вырвать у моря надо эту тайну, вырвать в эти дни: даже в воздухе чувствуется конец войны; не сегодня-завтра пойдут здесь корабли с десантом, чтобы сбить фашистов с последних позиций, за которые они уцепились.

Понимал это Зураб, и пошел добровольцем в наблюдатели на островок, затерявшийся среди волн.

— Шабаш,— сказал вдруг Лобанов, сказал так тихо, что Зураб скорее почувствовал, чем услышал эту команду, и осторожно положил весла на упругие борта лодки.

— Точно, с правого борта буруны,— прошептал Губенко, молчавший до сих пор.

Зураб прислушался. Действительно, справа доносился ровный гул. Сомнений быть не могло: там волчы разбивались о какую-то преграду.

— Давай туда,— прошептал Лобанов и оттянул затвор автомата.

Лязгнул затвором и Губенко.

Зураб развернул лодку, и она, теперь уже кормой вперед, осторожно пошла к островку. Шум волн усиливался с каждой минутой. Скоро стал слышен и плеск воды, с ходу налетевший на препятствие.

Островок вынырнул из темноты неожиданно. Как черная грозовая туча он закрыл горизонт. И чем ближе подходила к нему лодка, тем четче становились его очертания, тем больше островок походил на старую крепость. Зурабу казалось, что он видит даже зубцы, башни. А вон и часовой! Он стоит на стене и смотрит в море.

Зураб невольно подумал: «Ошиблась разведка! Занят островок немцами!» Только подумал, а руки уже вцепились в весла, опустили их в воду, сдерживая лодку.

Лобанов ободряюще похлопал Зураба ладонью по ноге.

«Вот ведь какое наваждение: столб за часового принял!» — подумал Зураб.

Островок уже рядом. Можно различить отдельные валуны, через которые с рокотом переваливаются волны. Чуть правее — валунов нет. Там проход в маленькую бухточку. Зураб направил лодку туда. Волна, набежавшая сзади, подхватила ее, понесла на гребне. Еще минута — и лодка в бухточке. Здесь волны слабее, спокойнее.

Зураб осторожно подвел лодку к каменистому берегу. Лобанов вскарабкался на камни, прислушался, сделал шаг вперед — и сразу исчез, словно провалился в какую-то яму.

Несколько взмахов весел — и лодка отошла от берега. Она снова покачивается на волнах около выхода из бухточки. Теперь остается только ждать. Если на остров-

ке никого нет — Лобанов вернется на берег и тихонько свистнет. А если там немцы... Что ж, тогда они, двое, постараются уйти незамеченными и высадятся на соседнем островке в двух милях к западу отсюда.

Но это потом, а пока ждать...

Появился Лобанов тоже неожиданно. Зураб только заметил, вдруг один из прибрежных камней стал выше. Вскоре раздался легкий условный свист. За спиной Зураба радостно чертыхнулся Губенко.

Зураб снова осторожно подвел лодку к скользкому валуну, и Губенко, с радиостанцией за спиной, вылез на него. Зураб вынул весла из уключин, протянул их Лобанову и спросил:

— Выходить?

— Выходи,— ответил старшина и протянул руку.

Зураб вылез на валун. Потом втащил лодку, выпустил из нее воздух. Лодка стала плоской, как блин, ее свернули в трубку и засунули между двух валунов.

— За мной,— спокойно, словно он находился у себя дома, командовал Лобанов и пошел по еле заметной тропинке к центру островка. Подъем скоро кончился. Матросы остановились на большой площадке возле груды битого кирпича.

— Все, что осталось от маяка,— сказал Лобанов, взобравшись на кучу кирпичей.— Много сейчас, конечно, не увидишь, но общее представление об острове иметь надо.

Черное тело островка отчетливо видно на более светлом фоне моря. Это — каменная гряда, забытая среди волн. С северной стороны, откуда пришла лодка, два каменных мыса, как клешни. Между ними — бухточка. Ни одного дерева. Куда ни глянешь — везде камни.

— Вон откуда они могут прийти,— говорит Лобанов и тычет пальцем на юг.

Матросы смотрят в ту сторону. Ничего не видно. Тонет во мраке берег, занятый врагом. До него около пяти миль. Пять миль — девять километров. Девять километров до врага, более трехсот — до товарищей.

Лобанов слезает с груды кирпича и, опустившись на колени, ползет в какую-то щель. Матросы молча следуют за ним. Темень крошечная. Под руками битый кирпич.

— Осторожно, ступеньки,— предупреждает Лобанов.

Проход неожиданно становится шире, выше, и Зураб выпрямляется. Его руки ощупывают каменную кладку, а ноги осторожно спускаются по стертым, но гладким ступенькам. Вот и какая-то площадка. Лобанов включает электрический фонарь. Яркий холодный луч ударяет в мокрую стену, скользит по ней. За ним, как привязанные, следуют взгляды моряков.

Пробежав по стенам подвала, белое пятно соскальзывает на пол. Теперь моряки видят кирпичи, обломки старых бочек, ящичков и кучу потемневшего, подтаявшего снега.

— Стой, старшина,— говорит Губенко и берет фонарь из рук Лобанова.

Белый круг снова скользит по полу, по стенам. Наконец он замирает на сравнительно сухом месте.

— Здесь рацию поставлю,— будто сам с собой разговаривает Губенко.

Под радиостанцию подложены четыре кирпича, и она, прикрытая бушлатом Губенко, стоит на самом сухом месте в подвале.

Осмотрели и потолок. Большая трещина, как застывшая молния, разрежала его. Лобанов поднес к ней папироску и дым скользнул, затерялся между камней.

— Труба уже есть, а на печку кирпича хватит,— медленно заметил Губенко.

— А ну, посвети, а я выйду посмотрю, не пробивается ли свет. Чуть что — сигнал подам, — строго взглянув на Губенко, сказал Лобанов, передал фонарь Зурабу и вылез из подвала.

Выждав немного, Зураб провел по щели лучом фонаря. Лобанов молчал. Луч медленно полз по щели, замирая на самых широких ее местах.

— Порядок полный, — сказал Лобанов, спускаясь в подвал. — Значит, здесь будет наша главная база... Вы отдыхайте, а я вахтить пойду.

Лобанов ушел, а Губенко с Зурабом сгребли щепки в угол, выбросили снег и мусор. Потом Губенко, тихонько ругая кого-то, расстелил на полу плащ-палатку и шутиливо доложил, приложив пальцы к виску:

— Перина взбита!

Легли рядышком, тесно прижавшись друг к другу. Губенко еще немного поворчал: дескать, служба у него дурацкая, что ни один порядочный, уважающий себя человек никогда не уснет на такой подстилке, — и вдруг захрапел, нежно обняв товарища. А Зураб не мог уснуть. Он лежал лицом к стене и прислушивался к ровному шуму прибоя, который сквозь каменную толщу доносился, как протяжные, тяжелые вздохи. Словно морю надоела эта война, словно оно стосковалось по мирным солнечным дням.

А старшина Лобанов в это время сидел на груди камней и ощупывал глазами море. Ни одного огонька, ни силуэта корабля, ни рыбацкой лодки. Пустота, мрак.

2.

Утром, когда стали отчетливо видны все предметы, Лобанов разбудил товарищей, и они, поеживаясь от холода, вылезли из подвала. Серое небо, с которого не пе-

реставая сыпался тот же, что и вчера, мелкий и нудный дождик, словно низкая крыша, придавило островок, спрятало его от глаз береговых наблюдателей.

— Облазить и изучить остров так, чтобы знать его, как свой кубрик,— сурово сдвинув брови, приказал Лобанов. Он погладил рукой подбородок и добавил после небольшой паузы: — Пользоваться надо, что с берега ничего не видно. В ясные дни в подвале отсиживаться будем. Понятно? Действуйте!

Матросы козырнули старшине, машинально, по привычке, выработанной за годы службы, повернулись «кругом», сделали несколько шагов и остановились. Впереди — обрыв в море.

Обрыв — гранитная скала высотой метров в пять. Она прорезана неглубокими трещинами. А внизу — черные мокрые глыбы валунов. Волны набегают на них, словно хотят сбить с насиженных мест, с разбега бросаются на гранитную стену, разбиваются о нее и, злобно шипя, отступают, устилая свой путь пеной. И в этот момент опять из воды высовываются валуны. Они будто дразнят: «А ну, давай еще!»

Матросы пошли по кромке обрывистого берега. Везде изрезанная гранитная скала. Высадиться на островок можно только в той бухточке, в которую проскользнули они сами, или на южной косе, далеко врезавшейся в море.

— Держаться здесь можно,— сказал Зураб, сворачивая папиросу.— И почему они островок без присмотра оставили?

— Не до жиру, быть бы живу,— неожиданно зло ответил Губенко.— Не поймешь?

— Зачем загадки загадывать, если и сам отгадать не можешь?

— Соображать надо!— Губенко многозначительно

покрутил пальцем около виска.— Если здесь пусто, то, конечно, дело темное.

— А ну, говори!

— Им бы фронт хоть недельку еще удержать, а ты с островком носишься!

Зураб и сам подумывал об этом и задал вопрос лишь для того, чтобы Губенко заговорил. Очень хорошо, когда товарищ с тобой разговаривает.

— Кацо! Вернемся на базу — сам ходатайствовать буду, чтобы тебе звание профессора дали!

— И не выдумывай! — с притворным испугом замахал руками Губенко.— Еще заставят таких, как ты, обучать!

Так, беззлобно подшучивая друг над другом, они шли по островку. Больше наседавал Губенко. Последнее слово чаще всего оставалось тоже за ним. Но Зураб не обижался: разве можно на друга сердиться? Да и Губенко шутил не зло. Он тоже дорожил дружбой с Зурабом. Началась она почти год назад. В тот день они случайно встретились в городе. Не успели поговорить, как раздался сигнал воздушной тревоги. Пришлось бежать в убежище. Оно помещалось в подвале большого дома. Там было полно детей, женщин и стариков. Из настоящих мужчин — только они с Зурабом. Лица у всех одеревеневшие, в глазах — ожидание, страх.

А фашистские самолеты бросают бомбы. Земля вздрагивает, кажется, весь подвал ходуном ходит. Вскоре одна из бомб грохнула так близко, что со стен посыпалась штукатурка и погас свет. Люди притихли. Кто-то начал всхлипывать. Губенко почувствовал, что и у него спазм сжимает горло. Захотелось выскочить из этого душного подвала. Еще немного — он бы так и сделал, но в это время зажгли фонарь и сразу же Зураб крикнул:

— А ну, шире круг! Запевай, кацо!

Голос у него был властный, и Губенко не посмел ослушаться: запел сильным голосом глупый куплет, каким-то чудом всплывший в памяти:

Базар большой,
Кукурузы много...

Зураб поднялся на носки и поплыл по кругу, поплыл мимо недоумевающих людей, поплыл задорно сверкая глазами, подстегивая себя гортанными выкриками.

И прошло оцепенение, владевшее людьми: уже несколько человек подпевало Губенко, а еще больше отбивало такт ладонями.

— Чего это ты плясать вздумал? — спросил Губенко, когда дали отбой воздушной тревоги и они вышли из убежища.

— Понимаешь, страшно стало,— чистосердечно признался Зураб.— Очень страшно!.. А зачем перед страхом на колени становиться?

А потом, когда попали в один батальон морской пехоты, Губенко убедился, что Зураб и в бою перед смертью на колени не становится.

Кончен осмотр островка. Снова они все трое стоят у развалин маяка. Здесь поверх гранита лежит слой земли сантиметров в двадцать, кое-где робко пробивается травка. Есть даже подобие клумбы. Она, видимо, раньше была обложена кирпичами: еще и сейчас торчат из земли их углы.

Сквозь пелену дождя чуть виден соседний островок. Это просто скала, торчащая среди волн. Только чайкам и сидеть на ней.

Берега, занятого врагом, сегодня не видно.

— Все ясно? — спросил Лобанов, пытливо глядя на товарищey.

— Так точно, ясно,— ответил Губенко, вздохнул и полез в подвал.

Там он скинул с себя бушлат, уселся у радиостанции, открыл ее и начал осматривать радиолампы, конденсаторы, проводники, чуть слышно насвистывая какой-то веселый мотив. Лобанов лег спать, а Зураб, прикрыв автомат плащ-палаткой, улегся снаружи среди камней. Он наблюдал за морем.

Три дня прошло спокойно: на минном поле не появлялось ни одно суденышко, к островку не подходил ни один из фашистских катеров, скользивших вдоль чуть заметной полоски берега.

Впервые заметив эти катера, моряки сразу же отправились в подвал. Среди камней остался лишь наблюдатель. Но скоро они поняли, что фашисты с катеров не обращают внимания на островок. Теперь, при появлении катеров, моряки уже не прятались, а продолжали спокойно лежать на камнях.

Все эти дни Зураб и Губенко безропотно выполняли распоряжения старшины, исправно выходили на вахту, но Лобанов чувствовал: что-то нарушило нормальный ход жизни, что-то, как ржавчина, ест людей.

Особенно заметно это было на Зурабе. Он перестал бриться и почти все свое свободное время спал или лежал, уставившись глазами в одну точку. Он уже не откликался на шутки Губенко. В лучшем случае — покосится на товарища, скользнет по нему взглядом, как по пустому месту, и опять будто спит с открытыми глазами.

Да и шутки Губенко стали злыми, ехидными.

Это настораживало Лобанова. Парни были как парни, сам выбрал из сотен — и такой неожиданный оборот....

С Зурабом встречался еще под Сталинградом, а с Губенко — с сорок третьего неразлучен, если, конечно, не

считать тех месяцев, когда в госпиталях лежали. Ведь потому и выбрал их, что как на себя надеялся: в бою промашки не дадут, а Губенко, кроме того, и радист первоклассный.

Дружба тоже много значит: мало ли что случиться может, а друзья — не подведут. Особенно такие, как эти двое. Оба они жизнь любят, значит, изо всех сил они будут стараться задание выполнить.

Эти мысли не давали покоя, и Лобанов, отдохнувший после ночной вахты, решил поговорить с товарищами откровенно. Он встал с жесткой постели, затянул потуже ремень и вышел из подвала. По небу неслись рваные косматые тучи, и море было покрыто движущимися темными пятнами. Волны с белыми пенными гребнями неслись на островок и разбивались о его берега, вздымая к небу столбы радужных брызг. Пахло соленой водой и водорослями.

Все это знакомо, даже немного надоело, и Лобанов отвернулся от моря. На развалинах маяка лежал Губенко. Сейчас он был наблюдателем. Но Лобанова заинтересовало поведение Зураба, который ползал по земле, словно искал что-то. Старшина подошел ближе и все стало ясно: матрос восстанавливал вокруг клумбы каменный барьерчик. Кирпичи он брал любовно и так же любовно вдавливал их углом в землю.

Лобанов сделал еще несколько шагов и ногами разрушил все, что восстановил Зураб. Тот вскочил на ноги и исподлобья недоумевающе посмотрел на старшину. Его губа предательски дрожала, дергалась, обнажая белые зубы.

— Нельзя, Зураб, ничего нельзя здесь пока изменять, — как можно спокойнее сказал Лобанов, протягивая кисет. — Вдруг с самолета заметят? Чуешь, какая карусель получится?

Зураб кивнул головой, но закуривать не стал: обиделся. Только примерно через час он сказал, криво усмехаясь:

— Хорошо, старшина. Распухну от безделья, но ничего не трону. Пальцем не шевельну!

Долго все трое сидели молча. Потом Губенко словно трорвало. Он проклял фашистов, которые поставили это минное поле и забыли о нем, и вдруг набросился на Зураба:

— Какого черта ты морду воротишь? Солнце, воздух — без карточек! Сюда вишни, яблони посадить — лучшего места на всей земле не найдешь!

Зураб вздрогнул, впился черными глазами в Губенко, но уже через минуту опять медленно опустил веки, откинулся назад, повалился спиной на рыжий валун и, сдерживаясь, сказал:

— Зачем обидные слова говоришь? В злых словах нет правды... Будут здесь и яблони, и вишни... Когда будут? Я не деревья садить сюда пришел! Работать пришел! А что здесь? Тишина! — последнее слово Зураб произнес так, словно выругался.— Без работы кинжал ржавеет, а я человек!

Лобанов пытливо смотрел на Губенко. Тот машинально ковырял землю и молчал. И Лобанов догадался, что он согласен с Зурабом, что оба они страдают от безделья, стыдятся его.

Действительно, разве легко человеку, который все время был занят, вдруг оказаться без работы? Взять для примера самого Лобанова. Ему сорок лет. До войны плавал на пароходе по Волге и Каме. Нечего и говорить, что он куда спокойнее и выдержаннее, чем этот молодой. Но и ему тошно здесь. Если бы не специальное задание, ни за какие деньги не согласился бы жить на этом островке, хотя маячный сторож и большая величина.

Только подумал так, и сразу понял, что это пустые слова: если прикажут, пойдет он сюда и после войны. Родина тем и сильна, что много у нее преданных сынов, готовых ради нее на любое дело. Разве мало сейчас солдат, которые, подобно Лобанову, сидят на таких вот островках, на наблюдательных пунктах, в сырых ямах, на горных вершинах? Они, словно маяки, разбросаны на пути к победе. Невелик каждый из них в отдельности, но не сработай он в нужную минуту — замедлится общее победоносное движение.

Почетно и лестно служить на любом из них. Даже если фамилия твоя народу неизвестна.

Узнал Лобанов причину разлада в маленькой своей семье — и легче ему стало. Он посмотрел на часы — было около двенадцати — и сказал, четко выговаривая слова:

— Будем жить по корабельному распорядку... Приступить к приборке!

Матросы удивленно посмотрели на старшину: шутит? Нет, серые глаза Лобанова были строги, в углах рта залегла жесткая складка.

— Не слышали команды? — спросил он, вставая и оправляя бушлат.

Матросы вскочили на ноги и исчезли в подвале.

А утром, когда стрелки часов показывали шесть, Лобанов спустился в подвал, направил свет фонаря на лица матросов и впервые за последние годы прозвучала здесь команда:

— Вставать, койки вязать!

Еще минута и новая команда:

— Приготовиться к утреннему осмотру!

Только две команды пока и подал он, а уже исчезла пелена безразличия с глаз Зураба, быстрыми, точными стали его движения.

С этой минуты жизнь на островке пошла точно по корабельному распорядку: физзарядка, «проворачивание механизмов», уборка помещения. Даже боевой подготовкой стали заниматься: Губенко объяснял товарищам устройство радиостанции.

3.

Кончился пятый день. По-прежнему с мерным рокотом бились волны об островок, осыпая валуны радужными брызгами. По-прежнему спокойно садились чайки на прибрежные камни. Казалось, ничего не изменилось ни на этом островке, ни в море. Но от зорких матросских глаз не скрылась ни подводная лодка, ни сторожевой корабль фашистов, которые вчера ночью прошли через минное поле по извилистому фарватеру, похожему на согнутую в колене ногу. Засекли моряки и точку поворота.

И тогда на пятую ночь заработала радиостанция Губенко. Товарищи с волнением следили за его сосредоточенным лицом, прислушивались к дробному стуку ключа. Белесые брови радиста собрались у переносицы, губы сжаты в полоску.

Но вот радостная улыбка расплылась по лицу Губенко. Заулыбались и остальные.

— Принимают, кацо? — спросил Зураб.

Губенко покосился на него, и замер, сжался Зураб: честное слово, он не подумал о том, что мешает товарищу.

И вдруг Губенко выругался, лицо у него заострилось, стало злым и жестоким. Еще несколько минут он копошился около радиостанции, потом выключил ее, снял наушники и сказал, повернувшись к товарищам:

— Все передал. Корабли завтра пойдут. Еще что-то передавали, но фашисты засекли... Глушат, гады! Такой треск, что ушам больно.

Лобанов взглянул на часы и пробасил:

— Переходи на запасную волну.

— Пробовал, товарищ старшина. Только высунуться — навалются и глушат, спасу нет.

Тихо стало в подвале. Так тихо, что все отчетливо слышали слабое потрескивание сухих щепочек в костре, который был разложен на цементном полу подвала. Маленькие языки пламени чуть заметно дрожали, бросая красноватые отблески на лица матросов и на стену подвала.

Лобанов отодвинулся в тень, посмотрел на товарищей. Губенко опять включил радиостанцию и копошился около нее, копошился с таким видом, будто он не в тылу врага, будто не его засекли вражеские пеленгаторы... Да, хороший Губенко радист и матрос. Прикажи ему продолжать передачу — до тех пор ключом стучать будет, пока не умрет...

И Зураб не подведет. Сейчас он сидит неподвижно. Его черные лохматые брови сошлись над переносицей. Углы губ чуть опустились вниз и кажется, что Зураб усмехается, вспомнив что-то хорошее. Только глаза строгие...

На товарищей надейся, старшина, а решай сам...

— Что предпримем? — спросил, наконец, Лобанов.— Раз засекли нашу рацию, значит, завтра обязательно обшарят островок... Может, переберемся на соседний? Приказ предусматривает и такой вариант... Оттуда подсвечивать будем...

Несколько минут все молчали. И вдруг Губенко, который, казалось, и не слушал старшину, сказал:

— Не можем переходить. Ведь наши-то не знают,

что мы туда перебазировемся. Ошибутся штурманы в прокладке курса.

— Может оттуда передашь? — спросил Зураб.

— А если нет? Ведь теперь немцы следят за этим районом. Так всю ночь и будем мотаться между островами?.. Скажи, старшина, если мы подсветим оттуда, штурманам легче будет найти нужный курс?

— Отсюда легче.

— Тогда зачем предлагаешь переходить? — пожал плечами Зураб. Он осмотрел свой автомат и спросил обычным тоном: — Разрешите заступать на пост, товарищ старшина?

Лобанов кивнул. Жизнь продолжается. И ничто не изменит ее хода. Солдат ко всему готов. Но все-таки Лобанову не по себе: предполагал, что так может случиться, а случилось — неприятно, муторно на душе.

Неужели нет выхода? Конечно, нет: завтра ночью корабли пойдут через минное поле, и он, Лобанов, обязан показать им фарватер. Значит, остается одно: держаться до последнего... А долго ли продержатся три человека?..

И невольно вспомнились слова командира роты, у которого он служил под Одессой: «Не количество солдат, а их душа — мерило крепости!» Так сказал командир, когда на роту наступало два батальона. Мерило крепости... Верно сказано! И до тех пор будет держаться гарнизон островка, пока командование не прикажет уйти, или пока не погибнет последний матрос. Да иначе и нельзя: эта груда валунов — советская земля, здесь на посту стоят три советских матроса. И без разводящего они не уйдут с поста. Разводящий — корабли, несущиеся по фарватеру через минное поле. Только после того, как пройдут они, можно будет покинуть пост, чтобы отдохнуть.

4.

Ранним утром, когда лучи солнца еще не пробились сквозь рваные тучи, Лобанов вновь собрал в подвале свой гарнизон и сказал тем спокойным тоном, каким обычно на корабле разговаривал с матросами в свободное время:

— Не миновать облавы. План у меня такой... Мы с Зурабом встречаем фрицев... Дадим им заметить себя и вступим в бой. Биться — как только можем.

Никогда Лобанов не думал, что так трудно будет высказать мысли, продуманные за ночь.

— А я? — не вытерпел Губенко.

— Тебя мы в щель уложим. Знаешь, что у бухточки кончается? И камнями завалим. С первого дня я ее приметил... Лежи в ней и не дыши. Ясно? До самой ночи лежи. Ты будешь кораблям сигнал подавать.

Замолчал старшина. Молчали и его товарищи. Будь на месте Лобанова другой человек, может быть, заспорили бы с ним Губенко с Зурабом, может быть, и попытались бы доказать, что он должен лечь в щель. А теперь спорить не могли: отец троих детей не пойдет на верную смерть, не обдумав всего. Значит, не переубедить Лобанова. Только его и себя расстроишь. А кто от этого выиграет?

— Сиди в щели, пока корабли не подойдут, — тихо, но так значительно, что каждое слово стало ощутимо весомым, закончил Лобанов. — Хватит об этом. За работу пора.

Через пять минут все вышли из подвала. Если бы сейчас туда заглянул посторонний человек, он сразу понял бы, что здесь живут только двое. Следы пребывания третьего — исчезли.

— Холодно ему, старшина, в щели лежать будет, —

сказал Зураб, улыбнувшись поднимающемуся невероятно большому солнцу.

— Опять глупости болтаешь,— заметил Губенко без привычной насмешки.— Помолчал бы...

— А почему молчать? Или я голоса лишен?

Так, перебрасываясь пустыми фразами, подошли к щели. Ее они знали хорошо. Постепенно расширяясь, щель тянулась к морю и выходила к нему почти над самым мысочком, защищающим бухточку от восточного ветра.

На ее дно положили обломки ящиков, бочек.

— Чуть что — здорово гореть будет,— словно про себя сказал Лобанов, пряча глаза.

Ему не ответили, но поняли: если корабли не заметят света фонаря, Губенко подожжет эти обломки. На костер будут держать свой курс корабли.

Настали тягостные минуты прощания. Лобанов неумело обнял за плечи Губенко, чмокнул в щеку, отвернулся и стал старательно очищать свои брюки от воображаемой пыли.

Зураб тоже обнял друга и прошептал:

— Держись, Митька! Мы еще погуляем у меня в Абхазии!

Веселые слова сказал Зураб, но Губенко чувствовал, что, только собрав все свои силы, выдавил он из себя и веселые слова, и улыбку. Глаза у Губенко стали влажными, в горле запершило. Ему захотелось еще раз обнять товарищей и сказать им, что не будет он сидеть в щели, что уж если погибать, то всем вместе. Но Лобанов нетерпеливо покашлял, посмотрел на него. Губенко, торопливо отстегнув от пояса гранату, протянул ее Зурабу. Тот взял ее, подбросил в воздух, поймал. Этот безобидный жест выражал и благодарность, и заверение, что граната в надежных руках.

Граната уже почти исчезла в кармане бушлата, когда рука Лобанова легла на плечо Зураба. Тот вскинул глаза на старшину.

— Отдай. И бутылку с зажигательной смесью отдай.

И опять никто не спорил со старшиной: Губенко должен дойти до прихода кораблей, ему — все лучшее.

Торопливо, но аккуратно щель завалили камнями, оставив только выход к морю, осмотрели землю (нет ли следов?) и ушли. Губенко прислушивался к удаляющимся шагам товарищей. Вот стихли и они. Лишь волны, будто испуганные, бились о берег. И тут Губенко не выдержал, заплакал, уткнувшись лицом в рукав бушлата.

Лобанов и Зураб ушли на другой конец островка, зашли за давно облюбованными камнями. Перед ними — отливающее сталью море. За ним чуть синее полоска земли.

— К Губенко, Зураб, не ходи,— тихо сказал Лобанов, набивая патронами автоматные диски.— Он для нас — что похоронен.

Голос у старшины спокойный, даже ласковый. А вот Зураба, как всегда перед боем, бьет нервная дрожь. Для него нет ничего хуже ожидания. И опять не о себе беспокоится он. Его мысли непрерывно возвращаются к Губенко. Лежит, бедняга, в щели и переживает: как-то товарищи? Ведь на верную смерть пошли. Только он, Губенко, может, и вырвется живым с этого островка...

Эх, Митя, Митя!.. И ничего-то ты не понимаешь! Разве страшно умирать, когда знаешь, что друзьям твоя смерть нужна?.. Страшно немного... Но этот страх пройдет, как только прозвучит первый выстрел. А каково тебе будет лежать там и не прийти на помощь товарищам? Трудно, Митя, выдержать, трудно... Но ты крепись! Грызи приклад автомата, но крепись!

А Лобанов лежал и думал: правильно ли он решил?

Того ли человека положил в щель? Зураба нельзя. Он так горяч, что при первом выстреле забудет обо всем и придет на помощь... Может быть, самому следовало остаться?.. Хорошо бы, да нельзя: командир во всем пример должен показывать. Даже в отношении к смерти...

5.

Примерно через час к островку подошел катер. Он заглушил мотор и остановился метрах в двадцати от берега. Зураб прекрасно видел не только мундиры и лица, но и глаза немцев, толпившихся на палубе катера. Фашисты видимо о чем-то совещались.

— Я срежу их, старшина? — спросил Зураб.

— Зачем спешить?

— Палка сама подымается, когда глаза змею видят.

— Не горячись.

— Зачем обижаешь? Когда я в бою горячился?

Действительно, сейчас Зураб был спокоен. Он приготовился к бою давно, видел перед собою врага и думал сейчас только о том, что он может, даже обязан убивать немцев, которые хотят занять этот островок, хотят помешать им выполнить задание.

Совещание на катере кончилось, и он подошел к берегу. Шесть солдат прыгнули на валуны. Они стояли плотной кучкой, оживленно споря о чем-то. Зураб глубоко вздохнул, прильнул к прикладу автомата. Вот грудь одного из фашистов на мушке автомата. Зураб затаил дыхание.

В это время рядом раздалась звонкая очередь автомата Лобанова. Зураб немедленно тоже дал очередь. Шесть солдат словно сдуло с валунов. Чья-то рука тщетно цеплялась скрюченными пальцами за скользкий валун. Вот исчезла и она.

А пули летели уже на катер и он, надсадно завывая мотором, задним ходом уходил от островка.

— Если еще придут, может, «создадим видимость? Будто много нас здесь? — предложил Зураб, который не видел ничего страшного в своем положении: бой как бой.

— Только двое нас здесь. Ясно? Двое!

Да, сложная задача... А ведь так хорошо можно было бы подурочить фашистов! Перебегай от одного валуна к другому и постреливай! Двух человек за взвод приняли бы... Но нельзя выдавать Губенко. Лишь они со старшиной будут воевать за эту землю...

Над островком появились два желтобрюхих истребителя. Они обстреляли его с бреющего полета и ушли. Улетели самолеты, и в море опять появились катера. И вот полукруг из пяти катеров уже замер метрах в ста от островка. Минутная пауза, потом загремели артиллерийские залпы и снаряды начали рваться среди камней. Воздух наполнился свистом пуль, гудением осколков снарядов и обломков гранита.

Что-то стукнуло Зураба по голове так, что в глазах замелькали искорки, затем все померкло.

Когда сознание вернулось к нему, катера уже подошли и высадили десант. Солдаты, выскочив на берег, рассыпались в цепь и поползли между камнями к центру островка, так плотно прижимаясь к земле, будто хотели слиться с нею.

Зураб не видел старшины, но зато слышал короткие, злые очереди его автомата. И Зураб тоже начал стрелять. Он стрелял точно, безжалостно, даже не радуясь удачному выстрелу.

И вдруг Зураб почувствовал два тупых удара в грудь. Липкая кровь поползла по телу, тошнота подступила к горлу, и он уронил голову на камни.

Сколько времени продолжалось это забытье, Зураб не знал. Он, как сквозь сон, слышал треск автоматных очередей, крики, но не мог ничего понять, не мог оторвать головы от камня, казавшегося ему таким мягким и теплым. Раздались взрывы гранат. Они словно разметали темную пелену перед глазами. Зураб приподнялся и тоже швырнул гранату в ту сторону, где звучали людские голоса. Потом еще одна пуля ударила ему в грудь. На какое-то мгновение он увидел немца, поднявшего над ним приклад автомата. Зураб выстрелил в немца, видел, как он упал, и тут вдруг тело стало невесомым, полетело куда-то...

6.

Губенко быстро справился с собой, вытер мокрое лицо рукавом бушлата и начал наблюдать за морем. Оно лежало перед ним. Спокойно и беззаботно катились волны: им не было дела до той трагедии, которая должна была с минуты на минуту разыгаться на островке.

Радист установил фонарь, проверил по компасу направление луча. Оно точно совпадало с последним коленом фарватера, пересекавшего минное поле. Осталось только ждать кораблей, а потом — включить фонарь. Тогда держись, фашисты!..

И тут в душу закралась робкая надежда: может, не придут фашисты сегодня на остров? Может, они только глушили рацию, но не запеленговали ее?

Но эта надежда исчезла, когда раздались первые выстрелы. Перестрелка длилась недолго, и опять тишина нависла над островком. Из своей щели Губенко видел только валуны, лежавшие на мысочке у входа в бухту. Когда волны обдавали их брызгами, они блестели, искрились на солнце крупинками кварца.

Тишина угнетала.

Но вот и артиллерийские залпы. Губенко слышит завывания и разрывы снарядов. Островок не отвечает. Живы ли товарищи?..

Один из катеров подошел к бухточке, и на мысок выскочили солдаты в шинелях мышиного цвета. Губенко мог бы одной длинной очередью срезать их всех, но не сделал этого. Только пальцы, сжимавшие автомат, так дрожали, что он спрятал руку в карман.

Солдаты, перескакивая с камня на камень, перебрались на остров. В это время почти враз ударили автоматы товарищей. Катер отошел в море.

Немцы, скользя между камней будто змеи, ползли мимо Губенко.

Вскоре замолчал один из автоматов, звук очередей которого Губенко различил бы среди сотни других. Одного из товарищей нет в живых...

За спиной Губенко рвались гранаты, звучали злые автоматные очереди. Они ближе, ближе...

Вдруг над одним из валунов, что лежали на мысочке, приподнялся Лобанов. С лицом, залитым кровью, он несколько секунд стоял, покачиваясь, потом упал, срезанный пулей. К его телу бросились два фашиста. Они думали, что моряк мертв, и начали топтать его тело. Вот тогда Лобанов и встал неожиданно, взмахнул ножом... Но уже мало силы было у старшины: нож выпал из ослабевших пальцев. Один из немцев вскинул автомат и выстрелил. Лобанов зашатался, колени у него подогнулись, и он рухнул на камни.

И сейчас лежит он там, у самой воды...

Все это видел Губенко — и стерпел, выполняя приказ старшины.

Выстрел по Лобанову был последним. Потом Губенко слышал, как фашисты перекликались, осматривая ос-

тровок, о чем-то спорили, собравшись, видимо, у подвала.

Скоро в бухточку вошел катер, на него село около двадцати солдат, и он отошел от берега. Если бы не часовой, обосновавшийся на мысочке около труп старшины, и не звуки губной гармошки, невыносимые, как зубная боль, можно было бы подумать, что немцы ушли с острова.

А солнце еще высоко. Кончится ли этот день?

Онемела нога. Повернуться бы хоть чуточку. Или закурить... Нельзя: вдруг заметят?.. А мысли бегут, бегут... Не мысли, а клочки какие-то. Только что заново пережил свое знакомство с Зурабом, а мысли уже перенеслись в родной колхоз. Вот он, Губенко, стоит, навалившись спиной на толстый ствол осокоря. Рядом — Нюся. Она заглядывает ему в глаза и шепчет, хотя близко никого нет:

— Не обманешь, Митя? Приедешь?

Не обманет, Нюся, тебя твой любимый. А если и не придет, то не его вина...

Думы невеселые, но чистые. И только одна гаденькая. Она появилась неожиданно и прошептала: «Не шевелись, не подавай признаков жизни. Корабли и без твоей помощи проскочат, а ты жить будешь, домой вернешься!». Появилась, прошептала и исчезла. Исчезла гадкая мысль, а Губенко еще долго злился на себя за минутную слабость.

Ночь незаметно спустилась на землю. Так темно, что даже не видно часового на мысочке. Но фашисты тут: все еще плачут губные гармошки.

Губенко устал от переживаний, у него теперь одна мысль: только заметили бы корабли луч фонаря.

Вдруг в мерный рокот волн вплеся новый звук. Он все ближе, мощнее. Вот уже не слышно моря, его жало-

бы потонули в гневном реве авиационных моторов. Губенко догадался: советские самолеты идут обрабатывать цели. С минуты на минуту должны появиться и родные корабли...

Наконец Губенко увидел в море ярко мигающую звездочку и включил свой фонарь. Не прошло минуты — что-то крикнул часовой на мысочке, и пули высекли искры из гранита около самой щели. Губенко понял, что его убежище обнаружено и жить ему осталось считанные минуты. Мозг работал лихорадочно: что делать? Ждать здесь? Возьмут как барсука в норе...

Губенко, еще раз посмотрев на фонарь и проверив направление луча, поднялся, напрягся — и камни скатились с его широкой спины.

Все ли корабли найдут, заметят тонкий луч света?

А фашисты уже окружают, надеются взять живьем... Они переговариваются совсем рядом...

Губенко выхватил из кармана бутылку с зажигательной смесью и разбил ее о камень. Мгновенно вспыхнули обломки ящиков и бочек, которые еще утром принесли сюда, и красное пламя, казалось, прильнуло грудью к камням.

На багровом фоне Губенко стал отчётливо виден. Фашисты поняли, что сдаваться он не собирается; отрывисто прозвучал выстрел немецкой винтовки. Губенко взмахнул автоматом, будто погрозил, и упал в огонь. Языки пламени еще робко бегали по рукаву его черного бушлата, а с моря на островок уже надвигалась громада корабля. Еще мгновение, и она пронеслась дальше. Длинноствольные корабельные пушки были нацелены в ночь.

За первым кораблем мелькнули второй, третий. Казалось, их манило, влекло к себе это жаркое пламя, возникшее на голых, холодных валунах.

Прошли годы. Как памятник, стоит на том островке высокая белая башня. Днем за много миль видят ее моряки. А ночью яркий снап света бьет из-под ее купола, помогая кораблям найти кратчайший и безопасный путь. Старые моряки называют этот островок Маяком Победы.



УЛИЦА — ЕГО ИМЕНИ

На перекрестке улиц прощаются двое.

— Запомнил адрес? — спрашивает она.

— Дом и квартиру врезал в память. Еще раз улицу повтори.

— Бушмакинская. Вот эта самая, на углу которой стоим.

Они еще раз улыбаются друг другу и смешиваются с людским потоком.

Не знаю, о чем они думали, расставшись. Может быть, он твердил название улицы — Бушмакинская. А вот знал ли он, знала ли она, почему эта улица так названа? Вернее — улицей Героя Советского Союза Бушмакина.

Кто он такой, этот Герой Советского Союза Алексей Петрович Бушмакин, чье имя присвоено одной из улиц молодой Перми?

1.

Солнце, спустившееся почти к самым вершинам пологих холмов, кажется облитым кровью и еле видно

сквозь тучи дыма и пыли: заканчивается еще один день Курской битвы.

Уже несколько дней грохочет эта битва. Здесь, на сравнительно узком участке фронта, фашисты бросили в бой лучшие дивизии автоматчиков, здесь тысячи их танков рвали гусеницами иссушенную солнцем и взрывами землю, здесь тысячи их самолетов почти непрерывно выли в небе, с которого дым горящих деревень и едкая пыль согнали голубизну.

Много, чудовищно много фашистских сил было брошено в бой, но советские солдаты выстояли! И даже сами перешли в наступление, вспоров танковыми клиньями вражеский фронт.

Острием одного из таких клиньев был батальон майора Бушмакина. Майору около тридцати лет, а выглядел он значительно старше. Такое впечатление создавали и его плотное тело, и неторопливые движения, и даже медленная речь. Будто через силу бросал он редкие слова.

Но особенно запомнились его лицо и глаза. Лицо — исчерченное полосками пыли, которая потемнела там, где еще недавно стекали струйки пота, скопилась в углублениях складок у рта. Слово шрамы легли эти полоски пыли на лицо майора и сделали его строже и старше.

А ввалившиеся и покрасневшие от бессонницы глаза смотрели на поле боя спокойно и вроде бы — даже равнодушно. Будто майора нисколечко не волновали ни разрывы снарядов, вспыхивающие рядом с танком, ни самолет, падающий на танк в отвесном пике.

Иными словами — посмотришь на лицо Бушмакина, заглянешь в его глаза и сразу поймешь, что ничего не ново для майора на поле боя, что он прекрасно знает, куда и зачем ведет свой танковый батальон.

Однако майор видел все — и разбитые обгоревшие

вражеские танки, и орудие, которое подмял под себя соседний танк, и змеи вражеских окопов, и порванную, искромсанную колючую проволоку, и трупы, трупы в серовато-зеленых мундирах ненавистной фашистской армии. Особенно же внимательно он следил за теми фашистами, которые еще были живы. Вот из-за разбитого снарядом «фердинанда» сверкнул орудийный выстрел. На мгновение сверкнул, а майор уже кричит в микрофон:

— Нефедов! «Фердинанд» левее тебя — видишь! За ним — орудие!

А еще через минуту:

— Вотинов! Вотинов! Обходи этот дот, обходи! Полный вперед, а с дотом пехота разберется!

И танки Вотинова, задержавшиеся было перед амбразурами дота, круто сворачивают влево, обходят и отсекают от этой крепости фашистскую пехоту, косят ее пулеметными очередями, давят гусеницами.

Танк непрерывно содрогается от выстрелов своей пушки, его подбрасывает на буграх и рытвинах, он проваливается, вернее — ныряет временами в воронки от бомб и снарядов, по его броне барабанят пули и осколки, но он несется к чуть голубеющему впереди ручейку. Только это не ручеек, а речка Орс. Бушмакин понимает, что ее нужно форсировать сейчас, немедленно, пока фашисты еще не опомнились, пока не оттянули сюда танки и пушки.

Это важное решение. Оно принято сейчас, в разгаре боя. Однако майор не спешит сообщить о нем подчиненным: он знает, что они пойдут за командирской машиной куда угодно. А тратить время на переговоры, тратить сейчас, в бою — преступление. Вообще Бушмакин убежден, что слово должно произноситься лишь тогда, когда без него нельзя обойтись.

Вот танк Бушмакина на долю секунды замер на берегу речки. В узкую смотровую щель майор видит, что именно здесь в воду уходит наезженная колея. Значит, выскочили точно к броду.

— Вперед!

Танк с небольшого обрыва плюхнулся в речку, вода вздыбилась у его лобовой брони, запенилась у гусениц. Вода серая, грязная от поднятого со дна ила.

2.

Большая медведица распласталась на черном небе и чуть мерцает зеленоватыми звездами. На западе временами по небу пробегают розоватые отблески: фашисты жгут какие-то русские деревни. Там сейчас стоны, крики, детский плач. А здесь тихо. Только временами прокричит какая-то ночная птица да всхрапнет или простонет во сне танкист, разметавшийся на земле рядом со своей машиной.

Танки Бушмакина темными громадами застыли в ложине, поросшей мелким кустарником. Сейчас темно; кустарник кажется густым и плотным, хотя на самом деле это голые расщепленные прутьики. Все прочее за дни боев сорвали пули и осколки.

Спят танкисты, измотавшиеся за день. Сверлят глазами ночь и прислушиваются к ее шорохам только часовые. Не спит еще и командир батальона майор Бушмакин. Он снял танковый шлем, пригладил ладонью взмокшие волосы, распахнул воротник гимнастерки и сидит, навалившись спиной на обрубок березы. Может, еще утром она была стройная, высокая, радовала глаз белоснежной корой и шелестела зубчатыми зелеными листьями, а сейчас — только иссеченный осколками и проды-

рявленный пулями обрубок. Белая кора — грязные лохмотья.

От моторов танков струится жар, они еще не отдохнули после беспощадной отрады этого бесконечно длинного летнего дня. Пахнет горячим металлом, сгоревшей взрывчаткой и... землей.

Запах земли...

Да, земля пахнет. Везде и всегда пахнет, но не каждому человеку дано чувствовать это. Вот и Алексей Петрович Бушмакин долго не мог уловить этого запаха. Уже в армии после длительных учений он вылез однажды из дышащего жаром танка, прижался щекой к родной земле и вдруг сразу почувствовал ее аромат. Манящий, ни с чем не сравнимый. Его знают все те, кто подолгу живут среди железа и всевозможных нагретых масел. Уловил однажды и с тех пор неизменно вдыхает его на каждом привале.

Любая земля пахнет хорошо, но лучше всех — та, где ты родился, где живешь.

Интересно, что сейчас делают семейщики? Ребята, конечно, уже спят, а жена, скорее всего, сидит у репродуктора и ждет сообщения Совинформбюро. Или перечитывает письма. Те немногие, что он прислал с фронта...

А старший сын, поди, под потолок вымахал... Эх, взглянуть бы на них, хоть одним глазком...

— Товарищ майор, вас просит к телефону комбриг, — тихо, чтобы не разбудить спящих, говорит связист, неожиданно вынырнувший из темноты.

«Комбриг просит», — значит, дело не очень спешное, значит, можно отдохнуть еще с минуту и Бушмакин идет неторопливо, осторожно перешагивая через танкистов.

— Бушмакин слушает, — говорит он, скатившись в глубокую воронку и приняв от связиста теплую телефонную трубку.

— Привет, Алексей Петрович! — рокошет трубка.—
Как спалось на новом месте?

— Не до сна.

— Вот и хорошо, что не спишь. Помни: твой батальон один далеко вклинился в расположение врага. Хорошо, толково вклинился! Мы используем это, но фашисты тоже не дураки, и ты будь ко всему готов. Как рассветет, наверняка полезут, попытаются уничтожить или отбросить. Из кожи лезть будут, но попытаются! Понимаешь?

— А чего тут понимать? — притворно зеваает Бушмакин.

— Может, прислать к тебе своего заместителя? Для надежности?

— Сам справлюсь.

— Так и думал! Желаю успеха!

Бушмакин, чтобы скрыть нахлынувшую злость и обиду на комбрига, подчеркнуто медленно кладет телефонную трубку и уже вовсе не сонным голосом:

— Карту и свет!

Через несколько минут воронку прикрыли брезентом и тотчас сноп яркого света ударил в карту, разостланную прямо на земле. На карте свистопляска красных и синих стрел, замысловатый узор, который не каждая вышивальщица осилит. Бушмакин всматривается в него. Вот это та самая стрела, острием которой является его батальон. Она длиннее и тоньше других... Здесь он форсировал речку Орс... А теперь притаился в этой лошине...

Впереди речка Нугрь. За ней — фашисты, из-за нее на рассвете могут ударить их главные силы. Сколько? Батальон? Полк? Дивизия? Или еще больше?...

Удара врага можно ждать не только с того берега речки Нугрь: слева и справа на батальон нацелились синие вражеские стрелы. Много их и каждая — загадка...

Что предпринять, чтобы утром выдержать неизбежный массированный удар врага?..

Бушмакин решал задачи завтрашнего боя и за себя, и за врага.

Не спал в ту ночь и командир бригады. Он тоже сидел над картой, всматривался в сплетения синих и красных стрел. Чем помочь Бушмакину? В резерве — ни одного танка, кроме его личной машины.

— Ну как Бушмакин? — спросил начальник политотдела, протискиваясь в узкую дверь блиндажа.

Командир бригады сначала удивленно посмотрел на него, потом понял вопрос и ответил весело:

— Опять попался на крючок! И голос стал сонным, и зевает прямо в микрофон!

— Раз сонным прикидывается — не отступит; разозлился и что-то наверняка придумает, — улыбнулся и начальник политотдела.

— Характер у него, прямо скажем, стоящий... Только чем мы поможем его батальону?

Оба они — и командир бригады, и начальник политотдела — с самого начала войны с Бушмакиным, до мелочей изучили его характер. Они прекрасно знали, что Бушмакин упрям и терпеть не может, когда кто-то сомневается в силах его людей. Моментально начинает злиться. Но и злость у него особенная. Хорошая злость. Она не слепит, а заставляет думать, искать. Уже не раз бывало, что Бушмакин находил выход там, где его, казалось, не было вообще. Вот поэтому и вели с ним разговор в таком тоне, поэтому и радовались, что он разозлился.

Да, злость кипела в душе Бушмакина. Злость теперь уже на себя и за то, что ничего не может придумать. Он ерошил волосы, тер подбородок, но ничего путного не смог найти. Ведь, если верить карте, с любой сторо-

ны фашисты могут навалиться. А это чепуха! Уже не тот фашист стал, чтобы сразу со всех сторон наваливаться, есть какое-то решение, которого он, Бушмакин, не видит.

Разные есть командиры. Одни все схватывают играючи, словно предугадывают вопросы посредников на учениях или действия врага в бою. Другим все дается с трудом, другие даже талантливое решение, которое, как правило, оказывается самым простым, рожают в муках. Нет, не от неверия в свои силы: этим людям вариант кажется не самым лучшим, они готовы искать нужное до бесконечности. А посредники это не любят, им подавай решение мгновенно, будто школяр таблицу умножения. Поэтому в мирной жизни Бушмакину не везло, поэтому к началу войны он только и дослужился до командира взвода. В войну дело пошло лучше. И, что тоже странно, решения стали приходить как-то неожиданно и такие, что ни за одно разноса от начальства не было.

А сегодня нет ничего...

Бушмакин погасил электрический фонарик, откинул брезент и вылез из воронки. После яркого света электрической лампочки темнота ночи казалась и вовсе непроглядной, она будто приобрела плотность, стала осязаема. Слева и справа ее прорезают хвостатые ракеты. Зеленые, красные, желтые. Там враг. Он боится ночи, нервничает.

За речкой Нугрь на небе только отблески пожаров. Почему так? Почему там, за речкой Нугрь, враг не психует, не освещает истерзанную землю неровным дрожащим светом ракет?

Ответ приходит неожиданно: фашисты считают, что мы выдохлись и не рискнем форсировать вторую речку, пока полностью не овладели берегами первой. Враг предполагает, что мы завтра будем стремиться только расширить плацдарм здесь, в междуречье.

Захотелось кричать от радости, но он только погрозил ночи кулаком, сел и стал тщательно проверять свои выводы: в бою одна ошибка может многих жизней стоить.

Да, все правильно: враг измотан несколько не меньше, чем советские солдаты... Даже больше измотан. Ведь это ему пришлось удирать, ведь это ему в спину строчили автоматы и пулеметы. Значит... А то и значит, что нужно самому ударить по фашистам! Не ждать их утренней атаки, а ударить сейчас, ночью, ударить как можно скорее!

Чуть начало светлеть небо, чуть стала видна земля, изрытая бомбами и снарядами, танковый батальон Бушмакина рванулся вперед. Не пошел, а именно рванулся: комбат приказал с предельной скоростью двигаться к речке Нугрь, форсировать ее и овладеть деревней Озерки.

Утреннюю тишину разметал рокот многих моторов, и первые капельки росы сразу же погасли в клубах серой пыли. Над немецкими окопами торопливо стали карабкаться к розовеющим облакам сигнальные ракеты — призыв о помощи; потом из-за речки Нугрь истерично рывкнула несколько раз пушка и замолкла под гусеницами танка, неожиданно обрушившегося на нее сбоку.

Батальон ворвался в деревню Озерки. Только нет деревни. Не улица — пыльная проселочная дорога. На обочинах хмуро стоят полуразрушенные печи. Лишь на западной окраине уцелело несколько сараев, бань и два дома-развалюхи. Между ними и мечутся фашисты. Их, кажется, сейчас только и преследовать, гнать и уничтожать, а Бушмакин приказывает:

— Занять оборону!

Танкисты чертыхаются, они недовольны, но ослушаться не смеют: строг командир. Да и верят они ему.

Вот и прячут танки за уцелевшими развалинами, прикрывают соломой или расширяют и углубляют воронки от бомб и снарядов и осторожно заводят туда танки так, чтобы из земли торчали только башни, нацелившиеся на околицу длинными стволами.

Давно ли кажется ворвался сюда танковый батальон, давно ли здесь гремели выстрелы и сновали солдаты, а теперь обезлюдели улицы деревни. Будто нет никого живого. Только какой-то ошалелый петух иступленно орет с обгоревшего кола палисадника.

Бушмакин у радиостанции, он разговаривает с командиром бригады.

— Занял оборону в деревне Озерки,— скупно докладывает майор.

— Держаться до нашего прихода.

Окончен разговор, и немедленно подходит механик-водитель Головачев. У него в руках котелок с кашей. Она пахнет так, что сосет под ложечкой.

— Подзаправься, Алексей Петрович,— говорит Головачев.

Комбат и Головачев одногодки, оба начали служить в одной части и оба — в тридцать втором году. Но Головачев демобилизовался, когда срок пришел, а Алеша Бушмакин остался в армии и вот стал командиром. Когда началась война, снова встретились, во многих боях вместе побывали, всякого хлебнули. Даже в госпиталь комбата, когда он был ранен в боях под Москвой, доставил Головачев. На своей спине доставил. Почти пять километров по снежной целине прошагал, но доставил. Вот поэтому в короткие минуты затишья он и позволяет себе вольные разговоры с комбатом, обращается к нему запросто.

— Чего тебе? — будто проснулся Бушмакин.

— Подзаправься, говорю,— повышает голос Головачев.

Бушмакин тянется за ложкой, но в это время кричит наблюдатель:

— Десять танков! Расстояние — тысяча!

Бушмакин протискивается в люк танка. Исчезает в танке и Головачев. Котелок с кашей остается на вытоптанной полянке. К нему осторожно подходит петух, косясь глазом на людей.

Фашисты наступают по всем правилам: впереди танки, за ними — крадутся автоматчики. Пока они наступают молча, даже не стреляют. На испуг хотят взять, что ли?

Но зато сзади, справа и слева непрерывно нарастает грохот. Там пошла в наступление родная бригада. Бушмакин уверен, что она обязательно придет сюда, чтобы выручить. Нужно только продержаться, любым способом тянуть время. И батальон затаился.

Рокот вражеских моторов все ближе, мощнее. Он глушит все другие звуки и поэтому разрывы первых мин не услышали, а увидели. Они яркими огненными вспышками вдруг замелькали на пустынной деревенской улице. А вскоре и первые осколки ударились о бронзу. Беззвучно ударились.

Восьмерка желтобрюхих «мессеров» нагрянула неожиданно. Фашистские летчики знали, что у танкистов нет зениток и поэтому шли на бреющем, безбоязненно хлестали из пушек и пулеметов. Хлестали по танкам и просто по всему, что попадалось на глаза. От длинных очередей клубилась пыль на дороге и вспыхнул один из уцелевших домиков, за которым спрятался танк. Чтобы не загореться, танку пришлось попятиться. И на него сразу спикировал самолет, швырнул малые бомбы. Танк

подбросило взрывом, он развернулся, и упала на землю блестящая, как чешуя, гусеница.

Бушмакин с болью покосился на этот танк: ему дорог любой свой человек, а здесь механиком-водителем Вася Головачев. Ощупывает глазами Бушмакин танк и светлеет лицом: горящую солому скинуло взрывом и теперь хорошо видно весь борт машины. На ее броне полосы копоти, краска кое-где облезла, но нет нигде, нигде не чернеет рваными краями пробоина.

— До головного — пятьсот! — докладывает наблюдатель.

Теперь, пора. И Бушмакин командует:

— Огонь!

С этого момента начался бой, о котором еще долго говорили танкисты всей бригады:

— Такую драку — поискать.

Дважды фашисты атаковали батальон Бушмакина, наваливались на него самоходками, танками, штурмовали с воздуха и... дважды, побитые, откатывались назад. Многие танки батальона застыли обгоревшими коробками или были разворочены снарядами, но и фашистских только три еле уплелись от деревни с таким мягким лирическим названием — Озерки. Остальные вражеские танки и около двух сотен солдат остались на ее оклице.

Начали откатываться фашисты — Бушмакин командовал:

— Вперед!

Командирское чутье подсказало ему, что сейчас самое время для преследования врага. Да и родная бригада уже входила с востока в Озерки. Пропустить ее вперед, а самому залечивать раны? Нет, что угодно, но только не быть последним!

Танк Бушмакина разворотил стену сарая, в котором

притаился, и выскочил вперед, понесся за отступающим врагом. Проскочил околицу и тут жаркое пламя вспыхнуло на лобовой броне. Танк встал, мотор его заглох. Надо бы узнать, что с мотором, но во время атаки командир не имеет права отсиживаться в неподвижном танке, он, пока жив, обязан управлять боем. Таков закон войны, Бушмакин прекрасно знает его и поэтому вылез из люка, спрыгнул на землю. Голова кружилась, уши словно ватой набиты и чуть подташнивало. «Контузия»,— пронеслось в сознании и забылось: некогда собой заниматься, бой еще не кончен.

Выскочил майор Бушмакин из неподвижного танка, только несколько секунд простоял во весь рост среди поля, а к нему уже подошел другой танк, резко остановился так, чтобы прикрыть собой командира. В его башне и скрылся комбат.

3.

Под вечер бой стих, батальон Бушмакина отошел в лесочек и скрылся под кронами деревьев. Бушмакин вылез из танка, погладил ладонью ствол серебристого тополя и сказал:

— Благодать-то какая... Красотища, что у нас на Урале.

Нет таких тополей на Урале. И местность вовсе не похожа на родные зеленые горы. Но Бушмакин сейчас всем доволен, вот и хвалит, что видит. К самому дорожному приравняет.

Потом Бушмакин опустил на землю, казалось, только на мгновение прикрыл глаза веками и вдруг уснул. Он не слышал, не чувствовал, как танкисты осторожно перетащили его на подстилку из веток, уложили там и даже разули. Он спал спокойно, как спит человек, выполнивший очень трудную, но крайне нужную работу.

Спящим его и увидел комбриг. Постоял и спросил:

— Давно?

— Минут двадцать,— торопливо ответил Головачев. Бушмакин спал уже больше часа, но Головачев не стыдился этой своей лжи: должен ведь когда-то и Петрович отдыхать?

Командир бригады помолчал и опять вопрос:

— Трофеи есть?

— Три орудия, пять станковых пулеметов, две автомашины, продовольственный и вещевой склад захватили,— доложил командир первой роты старший лейтенант Вотинов. На его щеке багровый рубец, след недавнего ранения. Он перекашивает лицо и поэтому кажется, что старший лейтенант все время усмехается недобро.

— Хорошо... Очень хорошо,— сказал командир бригады, глядя на спящего Бушмакина и думая о чем-то своем.— Сколько врага побили — уже знаем... Бушмакина разбудить через тридцать минут. И пусть немедленно свяжется со мной.

И его разбудили через полчаса. Чертыхнувшись, он потянулся к телефонной трубке.

В это время в Перми, придя домой с работы, его жена увидела треугольник воинского письма и, не раздеваясь, только спустив на плечи головной платок, развернула и прочла:

«Дорогие мои!

Жизнь моя идет нормально, как и полагается на фронте. За меня не беспокойтесь: машина надежная, броня у нее подходящая, да и начальство бережет нас, в бой редко бросает. Больше постреливаем с закрытых позиций. Это когда ни ты врага, ни он тебя не видит.

А как дела у вас? Главное — себя и ребят береги...»

4.

В маленькой комнате, бревенчатые стены которой потемнели от времени, сидят командиры батальонов танковой бригады и пехотной дивизии. На простом обеденном столе — карта. Постукивая по ней пальцем, говорит командир дивизии:

— Как видите, на подступах ко Львову фашисты здорово укрепились и все наши атаки пока бесплодны. Львов, буквально, опоясан дотами, дзотами и прочей гадостью... А взять Львов надо! Иначе...

Он не договорил, что и н а ч е. Но его поняли. И н а ч е — враг еще больше укрепитя, подтянет силы и тогда взять город удастся лишь после очень упорных боев. Может, даже и не город, а то, что останется от него. И н а ч е — потери времени и темпа наступления, и н а ч е — многие павшие советские солдаты, которые могут уцелеть, если в город ворваться сейчас.

— Ваше мнение, товарищи? — заметно нервничает полковник.

Офицеры молчат. Они видят лишь один путь овладения городом — немедленно и с еще большим упорством штурмовать укрепления.

— Я думаю, что надо обойти укрепленный район и ударить по городу с тыла.

Все повернули голову в сторону говорившего, старались рассмотреть его. Он понял общее желание и вышел к свету.

Прошел только год со времени Курской битвы, а виски Бушмакина уже основательно подернулись сединой, на лице добавилось морщин. Только глаза также молодо и задорно светились из-под кустистых бровей, словно заверяли, что все прочее — мелочи.

— Я за то, чтобы танки обошли укрепления и ударили по ним с тыла. Всем остальным именно в этот момент атаковать с фронта.

Минута тишины, и вдруг сразу заговорило несколько человек:

— А как ты его обойдешь, как?

— Через эти чертовы леса пехоте не продрасться, а он хочет с танками пройти!

— Это тебе, Алексей Петрович, не по степи ветром носиться!

Командир дивизии постучал карандашом по столу. Разговоров будто не бывало.

— Кто просит слова?

— Разрешите мне? — поднялся один из офицеров, привычным движением расправил гимнастерку и начал: — Мы уважаем майора Бушмакина. За боевые дела он награжден орденами Кутузова, Красного Знамени и Красной Звезды. Да, он мастер походов по вражеским тылам. У нас еще свежо в памяти, как он со своим батальоном прошел по вражеским тылам около восьмидесяти километров, разгромил танковое училище, оседлал перекресток дорог и продержался там до тех пор, пока мы не подошли. Целый эсесовский полк с самоходками и танками атаковал его, но не смог осилить!.. К чему это говорю? Храбрости и умения воевать — Бушмакину хватает. Но сегодня он зарвался...

— Что вас пугает в моем плане? — насупился Бушмакин. — Леса непроходимые?.. Правда, есть в них дубы, что взводом не обхватишь. Но есть ведь и потоньше? Так кто же тебя толкает на тот дубище?

— Короче говоря, майор Бушмакин, вы беретесь зайти в тыл укреплений? Со своим батальоном зайти? — спросил командир бригады.

— Так точно, берусь.

Ответ весомо лег в настоуженную тишину. Стало слышно потрескивание фитиля в гильзе снаряда, чадившей на столе.

— Сколько времени нужно на подготовку к рейду?

— Батальон готов.

— Добро.

Офицеры разошлись. Многие из них с сожалением поглядывали на Бушмакина, размашисто шагавшего к своим машинам: им казалось, что непосильную ношу взвалил на себя майор. Зачем на трудности напрашивается, если их и так хватает?

Вечером следующего дня все свободные от службы потянулись к месту стоянки батальона Бушмакина. Там заканчивались последние приготовления, экипажи машин в последний раз осматривали, проверяли крепление всех винтов и гаек. Тут же были и командир бригады со своими штабными офицерами. Они выискивали недоделки, но придраться ни к чему не смогли.

Под днищем танка лежит старшина Головачев и ворчит:

— Другие жир нагуливать будут, а нам опять кишки трясти по вражеским тылам.

Ворчал старшина Головачев, но в голосе его улавливались нотки одобрения. И даже гордости за решение командира.

5.

Башня танка развернута орудием назад. Он медленно движется вперед, упирается в ствол дуба. Влажная земля черными комьями летит из-под гусениц.

Дуб дрожит, покачивается, но еще держится.

Надсаднее взывает мотор танка.

И дуб, словно нехотя, клонится, клонится, клонится...

Упал дуб! Танк переполз через него.

— Сменить головной танк,— приказывает Бушмакин. Он все время идет рядом с головной машиной. Он не замечает нежной зелени листвы, его не привлекает пение птиц, слышное в короткие минуты передышки. Ему не жаль и дубов, лежащих под гусеницы. Он сейчас даже ненавидит их за мощь, за ту силищу, с которой они вцепились корнями в землю. Ему сейчас милее всего мелкий осинник: батальон ходом проскочил бы по нему!

Очередной танк выходит вперед. Из его люка выглядывает Головачев, подмигивает и спрашивает:

— Сколько еще осталось, товарищ комбат?

— Километров семь.

Значит, за пять часов хода одолели только один...

— Не дрейфь, комбат! Все дубы в щепки сокрушим, но пробьемся!

Валяются деревья, валяются. Часто меняются танки, прокладывающие дорогу. Просека остается там, где прошел батальон.

6.

— Здравствуй, Алексей Петрович, здравствуй,— говорит командир бригады, крепко жмет руку и заглядывает в глаза. Они у Бушмакина по-прежнему молоды. Только, вроде бы, усталость в них заметна. И он спрашивает: — Очень трудно было? Вымотался?

— Другим больше досталось.

— Ну, расскажи, как провел рейд. Подробней рассказывай, время есть. Где и с кем встретился? Что от того осталось? Рожки да ножки?

— Рейд прошел обыкновенно. Вышли, значит, из леса и понеслись по шоссе. А остальное — написано,— и Бушмакин протягивает отчет о рейде.

Командир бригады почти выхватывает его и прячет в карман:

— Ты своими словами, с подробностями расскажи.

— А чего рассказывать? Задание выполнили и все....

Будут какие приказания или разрешите идти?

Командир бригады нахмурился, но ответил спокойно:

— Скупой ты на слова, Алексей Петрович... Что ж, иди.

Бушмакин вышел и за дверью тайком облегченно вздохнул: пронесло! Уж очень неприятно рассказывать о том, как воевал твой батальон. Когда его хвалишь, то вроде и самому себе славу поешь. А отчет — документ официальный, там все сказано точным языком цифр. Вот его начальство пусть и штудирует. И Наградные листы — тоже. В них о подвигах лучше говорится. И только чистая правда.

Командир бригады внимательно прочел отчет, некоторые места подчеркнул. Потом долго сидел, о чем-то думая. Наконец взял Наградной лист и стал заполнять его. Он написал, что «батальон под командованием майора Бушмакина проложил себе дорогу через лес, считавшийся непроходимым для танков, и прошел по вражеским тылам более пятидесяти километров. Во время этого дерзкого и умело организованного рейда уничтожено несколько автоколонн противника, минометных и артиллерийских батарей, порвана связь, посеяна паника во вражеском тылу и главное — рейд дал возможность покончить со Львовской группировкой противника.

Считаю, что майор Бушмакин Алексей Петрович достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого».

И расписался: «Командир 16 гвардейской механизированной Львовской Краснознаменной бригады...».

Подписал Наградной лист, еще раз прочел все написанное, остался доволен и спросил у заместителя:

— Как думаешь, что сейчас Петрович делает: спит или опять по танкам лазит, слабину выбирает?

— Спит. Как убитый, спит,— убежденно ответил заместитель и пояснил, словно оправдывая Бушмакина: — Такой рейд по вражеским тылам хоть кого, будь он даже трижды железный, вымотает.

А Бушмакин не спал. И по танкам не лазил, отыскивая то, чего не заметили экипажи. Он мучительно думал как ответить сыну на письмо, которое пришло еще до рейда. В нем сын прямо спрашивал: «...и еще напиши, за что тебе дали ордена. Всем отцы подробно описывают, один ты молчишь...».

Большая детская обида кроется в этих словах. Парнишка гордится отцом, хочет поделиться своей гордостью с товарищами, а что расскажешь, если в самом конце письма, да и то не всегда находишь будто мелочную приписку: «...а недавно мне вручили орден». Парню этого мало: ему надо знать, какой орден, за что и даже кто вручал.

И на лист бумаги ложатся строчки: «Что тебе сказать о подвигах, за которые мне дали ордена? Солдату легче, сынок: он взял «языка», ну и получил награду. Вот об этом и рассказывает. А мне говорить так конкретно нет возможности: я — командир, сам за «языками» не хожу. Даже из пушки стрелять не приходится, значит, не могу написать тебе и того, что это я метким выстрелом подбил вражеский танк или дот разворотил. У меня другие обязанности. Одно знай, сынок: твой отец верно служит Родине и все ордена его — заслуженные. Это тебе любой из нашей части подтвердит».

Солдатское письмо-треугольник повезли в Пермь медленные поезда. И привезли. А вот рассказов сослуживцев они не доставили. И жаль: из них дети Алексея Петровича узнали бы и о том, что их отец еще осенью

1941 года самовольно ходил за «языком», за что он от командира бригады получил сначала нагоняй, а чуть попозже — и медаль; не догадывались дети и о том, что их отец сам и не раз стрелял из пушки танка, что на его личном счету пять уничтоженных пулеметных точек врага, три танка и более десятка автомашин. Ничего этого и много другого не знали дети Бушмакина в то время.

7.

Январь 1945 года. Разгар зимы. Но как эта немецкая зима не похожа на русскую! Дома, на Урале, сейчас потрескивают от мороза деревья, дым свечой поднимается из труб к побелевшему небу, снег хрустит под ногами. Красотища!

А здесь... Здесь тоже снег. Сероватый и влажный. Прошли по нему несколько человек — готова черная тропинка, под ногами чавкает грязь.

И река не замерзла. Вода кажется смолисто-черной в белой окантовке берегов, на которых лежит нетронутый снег. Этот снег никто не топчет: по реке проходит фронт, только высунься к берегу — сразу разрежет очередь или накроет минометный залп. Наш или фашистский. Но обязательно накроет.

За четыре года войны много разных рек бывало на пути батальона Бушмакина. И широких, и узких. Глубоких и таких мелких, что переходили, не зачерпнув воды за голенища сапог. Но эта река особенная. Называется она — Одер.

Дошли советские солдаты до Германии! От берегов Волги дошли!

Стоит форсировать Одер и перед тобой дорога на Берлин, в ту самую берлогу, где прячутся фашистские главари. Ворваться туда, сокрушить фашизм — и будут

завоеваны мир, труд, о которых так стосковались солдатские сердца.

Только трудно форсировать Одер: весь его левый берег доты, дзоты, волчьи ямы, минные поля и окопы, окопы и колючая проволока на рядах кольев и просто спиралью валяющаяся на берегу. Кроме того, фашисты пристреляли не только каждый метр реки, но и все подходы к ней.

Уже пятый день лежит майор Бушмакин в окопе на правом берегу Одера, изучает вражескую оборону. Только начнет рассветать — он вползает в окопчик и находится в нем, пока день не отступит, пока темнота не скроет противоположный берег. Все высматривает, наносит на карту.

Лежать холодно, от долгой неподвижности тело немеет так, что вечером первые шаги сделать очень трудно и даже больно, но Бушмакин никому не доверяет наблюдения: вести батальон на приступ придется ему, а не какому-то дыде.

Пять дней отыскивал майор Бушмакин свой путь через Одер. Широка и глубока река, ее по дну не пройдешь, как Орс и Нугрь.

Пехота — та на лодках и бревнах переправится, а ему с танками как быть? Ждать, пока саперы наведут переправу?

Хотя и подвезено, и подготовлено все для постройки переправы, но Головачев правильно сказал:

— Через такую реку за час переправу не воздвигнешь.

Он так и сказал: «...за час переправу не воздвигнешь».

Что же тогда делать батальону? Ждать, пока саперы наведут переправу? Или все же попытаться проскочить по мосту, который цел у поселка Радщуц? Мост, конечно

но, заминирован и оставлен фашистами для приманки. Дескать, позарятся на него советские танкисты, заведут машины на мост, а мы его тут и взорвем!

Бушмакин (уже в который раз!) осматривает мост и Радшуц. Мост самый обыкновенный, на две машины в ряд. Как сойдешь с него — прямо перед тобой будет одноэтажный дом с крутой черепичной крышей. Крыша — черт с ней, а вот в фундаменте дома что-то уж очень много продухов. Скорее всего, тут засада с фаустпатронами и пулеметами. Возможно, и пушки тут же.

Хорошо укрепились фашисты...

А почему они должны обязательно взорвать мост в тот момент, когда по нему будут проходить наши танки? Разве не выгоднее им, имея такую оборону, пропустить через мост часть танков и лишь после этого взорвать его? Ведь, если фашистам такое удастся, наши потери будут значительно больше, ощутимее...

Да, именно так они намерены поступить!

В этот вечер Алексей Петрович прямо со своего наблюдательного пункта прошел к командиру бригады. Они почти до утра колдовали над картой. А в ночь с 25 на 26 января, без единого выстрела, батальон Бушмакина ринулся на мост. Танки шли на предельной скорости, шли так, будто их нисколечко не волновало — выдержит ли мост. Когда фашисты опомнились, когда пламя взрыва озарило дом с крутой черепичной крышей, почти весь батальон уже проскочил по мосту на левый берег Одера.

Запоздало засверкали вспышками отверстия в фундаменте дома. Но теперь его огонь танкам не был страшен: они обошли засаду.

Весь левый берег Одера освещен ракетами, которые взвиваются в небо из домов Радшуца, окопов и дотов. В их свете видны многие лодки, на которых переправля-

ются через реку молчаливые и поэтому особенно страшные советские солдаты. Пулеметные очереди прошивают лодки, мины разбивают в щепки, но солдаты, даже оказавшись в ледящей воде, упрямо плывут только к левому берегу. Держат над головой автомат или винтовку, и плывут: всем ясно, что близок конец осточертевшей войны, только дружнее на врага навалиться надо.

У правого берега в воде среди белых то поднимающихся, то падающих столбов воды копошатся саперы.

Ночной бой да еще в незнакомом населенном пункте рождает множество вопросов, которые нужно решить мгновенно и только самому. Вот танк Бушмакина, рассыпав гусеницами искры, вылетел на перекресток. Куда теперь? Справа захлебываются от ярости вражеские пулеметы, а слева — тишина. Бушмакин поворачивает налево. И только потому, что знает — пулеметы строчат с берега, а слева — окраина поселка. Оттуда, только оттуда может прийти подкрепление к врагам. С пулеметами же, которые ярятся на берегу, расправятся артиллеристы. Ведь уже и сейчас небо на востоке порозовело не от ранней зари, а от вспышек дружных оружейных залпов.

Три танка сменил к утру Бушмакин: два подорвались на минах, а в мотор третьего угодил снаряд и все воротил. Рассвет застал комбата в танке старшего лейтенанта Вотинава.

Прямо перед танком — шоссе, стрелой убегающее вдаль. Может, к Берлину? По обочинам — прямоугольники пашен и аккуратные рощицы. До тошноты аккуратные.

— Окапываться! — приказывает Бушмакин.

Танкисты вылезают из машин и лихорадочно быстро работают лопатами. Их подгонять не надо, они сами понимают, что нужно успеть вкопать танки за те считанные минуты, которые остались до появления врага. Вместе

со всеми орудует лопатой и комбат: нужные приказания давно отданы и сейчас дорога каждая пара рабочих рук. А они у него самые настоящие рабочие: с детства привыкли к земле и лопате — руки колхозника. Рядом с ним — Вотинов и Головачев. Земля шлепается с их лопат на влажный снег.

А враг уже идет, он спешит, разрывы его снарядов сжимаются вокруг танков.

— Давай, давай! — цедит комбат. И еще быстрее мелькают лопаты.

Старший лейтенант Вотинов как-то неуклюже валится. Его пальцы выпускают отполированный многими руками черенок лопаты, сгребают грязный и мокрый снег. Будто в снежки играть намеревается старший лейтенант.

Головачев подскакивает к Вотинову, приподнимает его голову, секунду всматривается в глаза, видит в них стекленеющую муть и опять хватается за лопату.

— Скорее! Скорее!...

С каждой минутой все ближе и гуще становятся разрывы, но еще быстрее углубляются ямы. Вот уже первый танк вошел в свое убежище... Второй... Третий... Последний!

— Принимай,— говорит Бушмакин и через люк передает Головачеву невероятно отяжелевшее тело Вотинова. Потом залезает сам. Вотинов уже мертвый, тоже будет участвовать в этом бою.

Прошло еще с полчаса. Закружились наши и фашистские самолеты, начался бой. Дрались лучшие асы, и то и дело дымными факелами самолеты перечеркивали голубую чашу, вонзались в землю, раздирали ее грохочущими взрывами.

Фашистские автоматчики почти рядом с танками. Они не перли во весь рост, как это бывало в прошлые годы, а подкрадывались по канавам, рывинам, прятая-

лись за чуть приметные холмики, бугорки и кочки. С каждой минутой они все ближе и ближе.

Вот один из них вскочил на танк Нефедова и в слепой ярости выпустил длинную очередь. Он целился в смотровую щель. Бушмакин из своего танка видел, как некоторые пули рикошетировали от брони. Он повел пулеметом, срезал фашиста. После этого окончательно утвердился в мнении, что больше медлить нельзя, что еще несколько минут и фашисты забросают танки гранатами.

В эфире раздается спокойный и даже вроде бы чуть сонный голос комбата. Он просит немедленно открыть беглый огонь из орудий и минометов по квадрату. Он вызывает огонь на себя.

Командир бригады взглянул на карту еще раз. Все точно: именно в этом квадрате занимает оборону батальон Бушмакина...

Что ж, Бушмакин опытный офицер да и жить очень хочет, любит жизнь. Но раз вызывает огонь на себя — ему виднее. Зря не станет шутить со смертью.

Короткий и властный приказ, минутная пауза и десятки снарядов устремились в названный квадрат.

Скоро снег там стал черный от копоти многих взрывов и вывороченной земли.

8.

В ушах непрерывный гул и колокольный звон. Будто все моторы и колокола мира заработали враз. Алексей Петрович видит шевелящиеся губы Головачева, но ничего не слышит, мотает головой. Тогда Головачев протискивается к люку, приоткрывает его. Над светлым пятном люка, из которого расползаются пороховые газы, склоняется мокрое от пота лицо какого-то лейтенан-

та. Он возбужденно кричит что-то, потом царапает на броне танка: «Спасибо, братцы! Сейчас мы займем оборону, пусть тогда сунутся!»

9.

Нежная зеленая травка пробилась сквозь корку земли и блаженствует на солнце. Хлопотливые птицы непрерывно щебечут в вершинах кленов, с веточками и перьями в клювах снуют через поляну. И не может быть иначе: конец апреля, самая пора горячей любви.

Сегодня 16-я гвардейская механизированная Львовская Краснознаменная бригада отдыхает, у заместителя командира бригады выдался свободный часок и он лежит на траве, растирает пальцами комочки влажной земли.

Пахнет земля... Вот прошел он, Алексей Бушмакин, много земель — служил на Дальнем Востоке, дрался с врагами под Москвой, Курском, на Украине, в Польше, а теперь под Берлином — и везде один аромат. Тонкий, нежный, зовущий не к бою, а к труду.

А приходится воевать...

— Разрешите обратиться, товарищ заместитель командира бригады?

Это, конечно, Головачев. Бушмакин только после форсирования Одера назначен заместителем комбрига. Больше всех горд за своего бывшего однокашника Головачев и поэтому теперь всегда обращается к нему не по званию, а по должности.

— Разрешаю, Вася,— лениво отвечает Бушмакин и садится.

Только сел — увидел, что Вася пришел не один, что за ним толпится много танкистов из его бывшего батальона и просто знакомых. У всех лица радостные, да-

же торжественные. А Головачев — тот просто цветет улыбкой. В руке у него газета.

Что случилось? Союзники прекратили поиски патрулей и начали воевать по-настоящему? Вряд ли. Да и не обрадуются от этого солдаты, которые всю тяжесть войны уже вынесли на своих плечах; ведь фашистская Германия вот-вот рухнет.

Наши ворвались в Берлин? На войне всякое бывает, но сейчас на взятие Берлина не похоже. Во-первых, он, Бушмакин, как заместитель командира бригады, знал бы об этом раньше других. Во-вторых, враг упорно не хочет сдаваться, он грозитя превратить Берлин в крепость, о которую разобьются советские армии.

Последнее, разумеется, липа: советские армии стянулись к Берлину для победы, а не для гибели своей; еще день, от силы — несколько, и начнется штурм фашистской столицы. Первый и последний решительный штурм Берлина!

— Разрешите, товарищ заместитель... Алеша, Алексей Петрович... от имени... от всего сердца, — начал Головачев и вдруг замолчал, сунул Бушмакину газету и тихонько заплакал.

Алексей Петрович торопливо развернул газету. Это была «Правда». В ней на первой странице несколько статей, сообщение Совинформбюро и еще Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза.

Он хотел поискать на других страницах то, что так взволновало друга, но несколько пальцев потянулись к Указу.

— Это читай!

— С Героем поздравляем! — зашумели танкисты.

А Вася Головачев шуметь не мог. Он прошептал:

— Эх, Алеша... Радость-то какая!

Руки дрожат. В глазах почему-то рябит и строчки Указа прыгают, дымкой подергиваются. Но он все же прочел: «...майору Бушмакину Алексею Петровичу».

Он, Алешка Бушмакин — Герой Советского Союза...

Трудно поверить... Слезы радости подозрительно близко у глаз. Он хочет достать носовой платок, и вдруг замечает, что в кулаке зажата горстка немецкой земли. И он говорит, показывая ее товарищам и будто думая вслух:

— Сеять скоро... Успеть бы...

Вот и все, что я хотел рассказать о человеке, чье имя носит улица. А если вам показалось, что скупо рассказал, то поймите меня: жизнь Алексея Петровича Бушмакина так богата, что я предпочитаю лучше что-то не досказать, чем где-то хоть чуть-чуть погрешить против истины.



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МИНЕР!

«Минер ошибается в жизни только раз», — это известно, пожалуй, всякому. И некоторые даже любят щеголять этой жизненной правдой, буд-то сами принадлежат к славному племени минеров.

А задумывались ли вы над тем, сколько раз мог ошибиться минер, но не ошибся?

У летчика точно фиксируется каждый боевой вылет. Накопилось положенное число — сверли дырку на ките-ле, жди награду. А минеры? Их очень ценят, уважительно говорят: «Талант!» Иногда даже к награде представляют. После летчиков, танкистов, наравне со штабными писарями.

Лишь сами минеры (да и то не всегда) полушутливо говорили товарищу, разоружившему наиболее опасную мину: «С днем рождения, тебя!»

Глубокая правда, глубочайшее уважение и радость в этом поздравлении.

Минер Александр Николаевич Варзин по основной гражданской специальности — инженер. Призвали его в войну на флот, присвоили звание техника-лейтенанта и задумались, куда и кем назначить: военного образования — ноль без палочки, даже козырнуть толком не умеет.

Пока думали и прикидывали, немец возьми и сбрось мины в Волгу. Да не простые мины, к борьбе с которыми были готовы, а настоящие морские — неконтактные, то есть такие, что взрываются от магнитного поля или шума винтов корабля.

Не было у Волжской флотилии средств борьбы с этими минами, вот и собрались у командира бригады тра-ления все его штабные специалисты — выход ищут.

В самый разгар поисков, когда иной командир и мимо кабинета комбрига пройти боялся, чтобы гнев начальства не вызвать, вдруг распаивается заветная дверь, и входит техник-лейтенант Варзин. Худощавый, лицо продолговатое и с него на всех ласково смотрят голубые глаза. Короче говоря, во внешности его не было ни силы физической, ни командирской представительности. Даже голос тихий, в разговоре все время будто виноватость звучит: «извините», «прошу прощения», «если вы

не возражаете». Словно дипломат какой, а не командир с тобой разговаривает.

— Извините, пожалуйста, я, конечно, помешал, но мне пришла, как кажется, довольно интересная мысль,— журчит он и прямо к столу комбрига, да не к уголочку, а с той стороны, где сам комбриг сидит.— А что, если нам на обыкновенный трал подвесить намагниченные стальные тросы? Мне кажется, они создадут то магнитное поле, которое позволит взорвать мину.— И добавил, положив перед комбригом два листа бумаги:— Тут чертеж и кое-какие расчеты, прошу проверить.

Так родился «хвостовой трал». Правда, коротка была его жизнь, но роль свою он сыграл, с ним мы и бросились в первую схватку со вражескими минами. Он же, этот трал-недомерок, натолкнул начальство на мысль назначить Варзина в минно-испытательную партию. Комбриг так и сказал:

— В МИП его, в МИП!

Прошло еще какое-то время и техник-лейтенант Варзин познал, что врываться без вызова в кабинет комбрига, если и не преступление, то уж грубое нарушение воинской дисциплины,— наверняка. И теперь он, даже когда вызывали на совещание, садился у самых дверей и рта не раскрывал, только пометки в блокноте делал, как примерный школяр. И кое-кто решил, что Варзин трусоват перед начальством. В эту же строку приплели и то, что даже на своих подчиненных матросов он ни разу голоса не повысил. Правда, отметили — просьбы Варзина выполняются матросами быстрее, чем иное приказание, отданное громовым голосом и с соблюдением всех уставных формальностей. А почему так — не задумывались, война поважнее задачи ставила.

Однако летом сорок третьего года произошел такой случай.

Мы уже ученые были и теперь по ночам не зажигали бакенов, не обозначали их огнями судовой ход. А Волга — широка, особенно в весеннее половодье. В ином месте судовой ход под самым правым берегом идет, а она на два километра размахнулась. Вот и получалось частенько так, что немцы бросали мины на затопленные пески. Естественно, когда вода спала, обсохли некоторые фашистские гостинцы.

Битва за Волгу уже к победному концу подошла. Зачастили различные поверяющие. Среди них были и такие, которые хотели непременно участвовать хоть в какой-то боевой операции.

Очередной поверяющий — капитан первого ранга, — узнав, что на обсохших песках мина лежит и ее будут разоружать, заявил тоном приказа:

— Думаю, мне будет представлена возможность проверить работу ваших минеров?

Комбриг дал в распоряжение поверяющего свой полуглиссер.

Ночью гроза бушевала, дождь хлестал, как из пожарного рукава, и ни пылинки в воздухе, дубки прибрежные — все умытые, ветром причесанные, а Волга — ни единой гневной морщинки. До того все красиво и мирно, что даже волны, поднятые полуглиссером, отбежав от него немного, казалось, поспешно вплетались в струи основного течения.

Самое вроде мирное утро было, а на выбеленных песках лежал металлический цилиндр почти с человека длиной. В нем таилась смерть: без малого тонна взрывчатки. Только и ждала оплошки минера, чтобы разнести в клочья и его, и эту нежную тишину пробуждающегося дня.

На войне человек постоянно слышит грохот взрывов, рев моторов. На войне человек очень хорошо узнает

смерть и поэтому проникается особым почтением ко всему земному, начинает уважать и ценить то, чего, бывало, не замечал раньше. И поэтому минеры теперь, готовя Варзина к работе, перебрасывались лишь самыми необходимыми словами и то почти шепотом, чтобы не помешать другому услышать и шелест помолодевшей листвы, и пение жаворонка в бездонной синеве; познавший близость смерти, очень любит все это.

Представьте, что вы сидите в кругу дорогих вам людей, с которыми скоро нужно будет расстаться. Может быть, навсегда расстаться. И лишь одни скрипки поют вам что-то нежное и грустное одновременно. Вы захвачены этой мелодией, вы слились с нею, вы и она — одно целое и вдруг в ваш мир больших человеческих переживаний врывается грохот барабана. Таким неуместным грохотом прозвучал голос поверяющего, спрыгнувшего с полуглиссера:

— Ну, долго еще копать будете? Не пора ли начинать?

Капитан первого ранга стоял около сидевших матросов и кое-кто из них попытался встать, но Варзин сказал:

— Прошу вас, товарищи, продолжайте подготовку,— и уже поверяющему: — Извините, с кем имею честь?

— Разве вам мало того, что я — капитан первого ранга?

— Я бы очень попросил вас, если не трудно, предъявить документы,— стоял на своем Варзин, протирая тряпочкой ключи, которыми ему предстояло работать у мины.

Поверяющий был умен и он сумел мгновенно разгадать, что под вежливой просьбой пряталась настойчивость, уверенность в своей правоте. Поверяющий был настолько умен, что сразу понял и всю несуразность своих претензий быть здесь старшим. Он был настоя-

щий военный и поэтому, поняв все, без дальнейших пререканий предъявил свои документы и даже попросил у техника-лейтенанта разрешения присутствовать при разоружении мины. Тот ответил:

— Буду только рад, но находиться прошу вместе с матросами... Сами понимаете, служба...

И поверяющий, пока Варзин колдовал над миной, сидел с матросами в блиндаже, как они, в узкую смотровую щель наблюдал за вроде бы неторопливыми движениями техника-лейтенанта, который сейчас один пытался перехитрить свою смерть.

Уже потом, вернувшись в штаб бригады, поверяющий сказал:

— Ну и глазищи у этого техника-лейтенанта. Серые, холодные, властные... Такие адмиралу в самый раз.

Нет, глаза у Александра Николаевича были голубые. Серыми они становились только в минуты гнева, но гневался он редко и поэтому матросы давно прозвали его Голубоглазым.

После этого случая с поверяющим поняли командиры, что Варзин никакого начальства не боится, что молчание и вежливость его — не от трусости.

Шло время. К концу войны на личном счету теперь уже капитана Варзина скопилось более сотни авиабомб, четыреста двадцать три сухопутных и тридцать семь фашистских неконтактных мин, которые он обезвредил своими руками. А что такое хотя бы одна разоруженная неконтактная мина?

1959 год. Кое-кто уже начал забывать о войне, а майор Варзин наконец-то осмелился жениться. Желая выбрать под свою внешность и характер: не броской красоты, тихую, спокойную. Иногда он, надев парадный мундир и прикрепив к нему все свои награды — орден Красной Звезды и медаль «За победу над Германией»,—

осторожно поддерживая жену за локоть, вел ее в порт, где они подолгу стояли у кромки воды и о чем-то разговаривали.

Закончив работу, он неизменно торопился домой, где его ждала Люся.

Все шло нормально и вдруг однажды, когда молодожены сумерничали вдвоем, раздался телефонный звонок. Длительный звонок, требовательный.

Александр Николаевич снял трубку и бросил в нее привычное:

— Майор Варзин слушает.

Жена притихла и внимательно следила за лицом мужа. Оно, как всегда, было спокойно. Разве только голубизны в глазах стало меньше.

— Ясно, товарищ адмирал... Сейчас выхожу.

— Куда, Саша? — с тревогой спросила Люся, пытли-во заглядывая в глаза.

— Адмирал вызывает, — беспечно и немного раздраженно ответил он, потом, привлек к себе жену, нежно поцеловал. — Извини, но мне придется отлучиться.

Она только спросила, на мгновение прижавшись к нему в прихожей:

— Надолго, Саша?

— Не больше чем на час, Люсенок, — ответил Варзин и вышел.

Почему стали серыми его глаза? Очень зол был майор Варзин. Зол на фашистов, поставивших мину в такой большой гавани. Не будь этой мины — сидел бы он сейчас рядом с Люсей, осторожно сжимал ее пальцы; не будь мины — не соврал бы любимой.

А сказать правду тоже нельзя: зачем волновать самого дорогого человека? Ведь Люся отлично знает, что каждая фашистская мина — загадка. Загадка, несущая смерть. Да, только смерть: в самой морской mine око-

ло пятисот килограммов взрывчатки. Ошибся минер — и нет его, и хоронить нечего.

Десятки людей так погибли.

Вот и порт. Здесь все знакомо: плавучий док, каменные стенки причалов, у которых стоят корабли, краны, обычно скрежещущие, обычно спешащие расправиться с грузами.

Сегодня все вроде бы на месте, но в то же время и чего-то недостает...

Майор Варзин остановился на горке. Отсюда порт виден как на ладони. Вон и землечерпалка. Это она, углубляя канал, вместе с илом подняла фашистскую мину, которая сейчас лежит в ее ковше...

Нашел, чего недостает! Жизни недостает порту!

И корабли, и краны — будто застыли. Словно не в порт, а на кладбище пришел он, майор Варзин. Даже стука молотков не слышно. И это закономерно: только специалист скажет, какая это мина — магнитная, взрывающаяся от присутствия железа, или акустическая. Вот и замер порт, притаился: если мина акустическая, не взорвется она в тишине, будет смирнехонько лежать на своем металлическом ложе; дождется минера.

Однако, сколько не стой, а к мине идти нужно...

Майор взял чемоданчик, стоявший у ног, и степенно пошел к шлюпке, поджидавшей его у берега. Теперь от его недавней торопливости не осталось и следа. Не потому, что он хотел порисоваться перед людьми, которые с тревогой и уважением смотрели на него. Просто Александр Николаевич знал, что к мине нельзя подходить взволнованным; минер во время работы должен быть всегда спокоен, наблюдателен и расчетлив. Даже то, что он бежал по городу в порт, а не приехал сюда на машине, подчинено этой же цели: бег поглотил излишнюю нервозность.

Когда шлюпка отошла от землечерпалки, майор Варзин склонился над миной. Чуть короче человека, но зато толще, она лежала в ковше, вся облепленная илом, покрытая ракушками и водорослями. Утешало лишь то, что та часть мины, где смонтированы все приборы, находилась вверху.

Прежде всего нужно узнать, какая мина.

Александр Николаевич принес воды и смыл зеленоватый ил. Конечно, это мог бы сделать помощник, если бы он был. Но нет помощника: зачем подвергать смертельной опасности двух человек? Да и людей, умеющих разоружать мины, не сотни: очень много должен знать человек и, кроме того, иметь особое чутье на вражеские ловушки. Ведь мина — маленький и очень хитрый завод, где есть самые различные механизмы. Одни из них приводят мину в опасное положение, другие — настраивают на момент взрыва. Дело в том, что не под первым кораблем, прошедшим над ней, взрывается мина. Есть специальное устройство, которое позволяет заранее решить, когда и под каким по счету кораблем должно это произойти.

А страшнее всего в мине — ловушки, которые должны уничтожить и мину и минера, если он не сможет проникнуть в их тайну. Начнешь доставать запал — замкнется электрическая цепь и... нет тебя больше. Коснешься любого прибора — так и жди — последует взрыв. Даже простого винта без осторожности вывернуть нельзя: проникнет в отверстие свет, сработает фотоэлемент, спрятанный в мине, и опять неизбежный грохот взрыва!

Все эти особенности фашистских мин, все ловушки знал майор Варзин. Вот поэтому его и посылали на разоружение опасных находок.

Только, все ли ловушки знал он? Конечно, нет: в любой мине враги могли установить новинку. Задача май-

ора — обнаружить ее, разгадать, устранить и лишь потом разоружить мину.

Не стало ила, смысл его майор Варзин — увидел марку. Теперь ясно: мина акустическая. Не прекрати свое временно работы в порту — давно бы, возможно, взлетела на воздух землечерпалка. Да только ли она одна? Многие корабли рядом с ней стоят.

И, как бывало уже не раз, захотелось покурить перед началом работы, захотелось еще хоть несколько минут побыть человеком, от которого смерть пока еще далека.

Он сидит, курит и думает. Не о жизни, не о жене. Все мысли — как подобраться к «жалу» этой мины, как вырвать его? Фашисты чаще всего ставили мины с таким расчетом, чтобы они взрывались под вторым кораблем, прошедшим над ними. Значит, нужно считать, что тот, первый, корабль уже прошел, что сейчас может быть только взрыв. Сейчас мина должна взорваться от любого звука, если он будет продолжаться больше трех секунд; две секунды в твоём распоряжении, минер.

Две секунды: ноль — раз, ноль — два... Стоит сказать: «Ноль — три», — уже взрыв. Смерть.

Из этого вывод: ключами работать нельзя. Остается лишь ножом резать эбонитовую прокладку.

Решение принято, и Варзин встает, подходит к мине. Его пальцы стискивают рукоятку ножа. Кожа побелела на суставах.

Начали.

Нож касается эбонита. Вайор Варзин нажимает на него и считает:

— Ноль — раз, ноль — два!

Счет быстрый, чтобы не ошибиться.

Минутная пауза, и снова нож делает глубокую бороздку на прокладке.

Постепенно Александр Николаевич увлекся, чуть притупил ощущение постоянной опасности. Ему казалось, что дело спорится, что скоро с миной будет покончено. И тут нож чуть дольше положенного времени задержался на эбоните. Акустический уловитель сработал: слышно тиканье часов.

Три секунды до взрыва! А что за них сделаешь? Куда убежишь? Александр Николаевич остался у мины.

И вдруг часы остановились!

Пошатываясь, отошел Александр Николаевич в сторону от мины, сел на кнехт. Полез в карман за папиросой. Долго не мог достать ее: так сильно дрожали руки. Ведь он лучше других знал, что могло последовать после того, как заработали часы.

Только через несколько минут окончательно поверил в свое счастье: у мины в запасе был еще один корабль! Значит, еще можно бороться, значит, есть еще шанс вернуться домой!

Но теперь работать нужно как никогда спокойно и внимательно, внимательно и спокойно. Нельзя два раза подряд испытывать судьбу.

Александр Николаевич взглянул на часы. Ого! Уже без двадцати минут двенадцать... Пришел сюда в семь. Выходит, почти пять часов бьется над этой миной...

Проверил прорезанную щель. Только три сантиметра.

На порт коршуном упала ночь, накрыла его черными крыльями. В домах постепенно гаснут огни.

А минер режет эбонит.

— Ноль — раз, ноль — два, — шепчет его пересохшие губы.

Город утонул во мраке. Светится огонек только около шлюпки, на которой матросы ждут майора Варзина. Правда, в городе есть и еще окно, где наверняка сейчас тоже горит свет, но его не видно с землечерпалки. Это

огонек в его собственной квартире. Там сидит Люся. Сидит одна. Стиснула коленями ладони и сидит. Ждет...

— Ноль — раз, ноль — два,— хрипит майор, прижимаясь лбом к холодной mine.

Наконец нож выпадает из его пальцев, сведенных судорогой. Все... Больше минер не может работать...

Как так, не может? А кто тогда может? Или и завтра царить в порту тишине? Или и завтра людям с тревогой смотреть на землечерпалку, ежесекундно ожидая чудовищный взрыв?

Майор Варзин снова подошел к mine. Сжал нож непослушными пальцами.

— Ноль — раз, ноль — два...

Потом, когда его спрашивали об этом, Александр Николаевич никак не мог вспомнить, сколько раз он отдышал за эту ночь. Для него она была страшной, изнурительной и непрерывной работой.

Утро наступило как-то неожиданно. Просто Александр Николаевич вдруг заметил, что он видит не только темный контур мины, но и ракушки, водоросли, прорезанную щель.

Как много еще резать...

И тут мелькнула дерзкая мысль. А что если?..

Александр Николаевич даже растерялся от неожиданности: ведь так просто можно все решить!

Спокойнее, Александр, спокойнее. Семь раз отмерь...

Пожалуй, все правильно... Всунуть нож в щель, нажать на него... Эбонит хрустнет, отломится... В образовавшуюся дыру сунуть руку и вынуть запал...

А не взорвется мина?.. Не должна: звук ломающегося эбонита будет меньше трех секунд.

Майор поднялся, посмотрел на просыпающийся го-

род. Потом вставил нож в прорезанную щель. С силой нажал на рукоятку...

Эбонит не поддавался.

Тогда он всей тяжестью тела повис на ноже...

Раздался громкий, но короткий треск.

Минер вытер рукавом пот, застилавший глаза, и посмотрел на прокладку. Она отогнулась. Теперь в щель пролезет рука.

Вот и разоружена еще одна мина. Ее приборы лежат на палубе землечерпалки. Теперь мина — лишь металлический футляр, набитый взрывчаткой, а не хитрая машина. Теперь можно вызывать и шлюпку, можно дать сигнал, что работа окончена.

Он помахал фуражкой. И тотчас раздался первый гудок. Это буксир пошел к пароходу, стоявшему на рейде. А еще через несколько секунд шевельнулась стрела одного крана, другого, требовательно засигналил какой-то шофер.

Ожил порт!

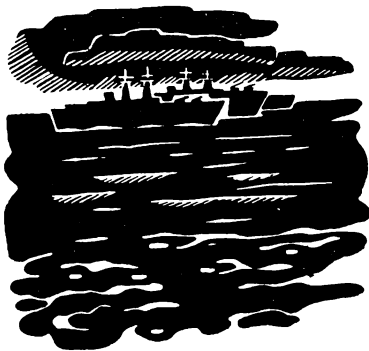
Матросы бережно обмыли исцарапанные в кровь руки майора, перебинтовали их.

— Вас проводить, товарищ майор? — предложил один из них, когда шлюпка подошла к стенке.

— Нет, спасибо, я сам, — ответил он. — Разве вот только чемоданчик с инструментом... Занесите его днем и незаметно поставьте в прихожей... Жена у меня, — буд-то извиняясь, закончил он.

Матросы поняли, что майор не хочет волновать жену, намеревается скрыть от нее свою ночную работу. Да разве скроешь правду? Со вчерашнего вечера весь город знает, что майор Варзин пошел на мину.

Жена открыла ему дверь сразу, как только он вставил ключ в замок. Открыла дверь и припала к его груди. Он провел забинтованной рукой по ее мокрой щеке. — Ну, не надо, Люсенок... Все в порядке.... Она еще крепче прижалась к нему.



МЕСТО В ЖИЗНИ

(Вместо эпилога)

Вечером, когда солнцу до кромки горизонта осталось пройти совсем немного, и с моря потянул прохладный ветерок, я остановился на гранитной набережной канала. От-

кровенно говоря, со дня приезда в этот портовый город набережная стала моим любимым местом отдыха. Почему? Море, родное Балтийское море — вот оно, рукой подать. То гневно рокошет за молом, то чуть слышно бьет о него волнами. Как бы зеркальна ни была вода в гавани, а море все равно напоминает о себе, если и не шумом волн, то запахом йода и свежестью, которую не сравнить ни с чем.

А море для меня... Море для меня — встреча с юностью, встреча с друзьями, боевыми побратимами. И с живыми, и с теми, которых уже нет. А это всегда волнует: невольно жалеешь, что беспокойная и опасная юность уже никогда не заглянет тебе в глаза, что с каждым годом ты все дальше и дальше уходишь от нее, — единственной и неповторимой.

Сегодня я сначала пролюбовался горящим от солнца морем. И вдруг вспомнил, как, придя на флот, выспрашивал у бывалых моряков, довелось ли им видеть зеленый луч. Тот самый, о котором так взволнованно писал Жюль Верн.

Ни один из них не ответил утвердительно. И мне не довелось увидеть зеленый луч: кровавые зарева плясали в мои годы на небе.

А потом мои глаза остановились на боевых кораблях, которые в этот тихий вечерний час смиренхонько стояли у стенки.

Человек, видимо, уж так устроен: встретившись с тем, что было ему родным когда-то, он почему-то хочет заявить: «А в наше время...» Я не исключение из общего правила, я тоже искал это неизвестное что-то, которое позволило бы мне похвалить мое прошлое. С первого дня приезда искал. Не нашел. И приподнятые носы, и скошенные назад трубы кораблей, и зачехленные пушки — все говорило о затаенной мощи, о силе стремительного броска, который обязательно будет после приказа: «К бою!»

— Да, коробочки славные,— услышал я голос, несущийся, казалось, с зеленоватой воды гавани. Осмотрелся, шагнул ближе к краю стенки. На каменных ступеньках сидел человек. Одет он был, как и большинство людей этого приморского городка: флотские брюки, потертый на локтях китель и до того старая мичманка, что от многих дождей некоторые нити ее верха стали серыми, выцвели. Лицо тоже обычное. Бурое от постоянных ветров и солнца.

Около ног неизвестного лежали два бамбуковых удила и стояла баночка с червями.

Настроение у меня было бодрое, к этому времени я

еще не поддавался воспоминаниям и поэтому ответил, не тая радости:

— Хороши!

Ответил и замолчал. А о чем еще говорить? Еще по прошлой службе помнил, что расспрашивать о кораблях незнакомого человека — наверняка беду наживешь.

Может быть, так и не состоялась бы наша беседа, да выручил окунек. Он неожиданно и нахально утопил поплавок, человек в кителе сделал подсечку, и рыбка, длинной с мизинец, скрылась в широкой ладони рыбака. А еще через несколько секунд он осторожно опустил ее в воду.

— Что так? — спросил я.

— Мала. Пусть еще годика два поживет, ума и мяса наберется.

Так началась наша беседа, а еще немного погодя мы уже разговаривали как старые и хорошие знакомые. Вернее, говорил он, а я слушал.

— Вот вы спрашиваете, кто я? — неторопливо басил рыбак.— Отвечу прямо: моряк я, военный моряк. Мичман... А вы кто будете? — вдруг выстрелил он вопросом и требовательно посмотрел на меня. Его серые глаза были спокойны, но смотрели так открыто, так честно, что уклоняться от ответа было невозможно, и я назвался.

— Так, офицер запаса, значит,— пробасил мичман.— В гости к нам? Что ж, одобряю... Только — не обижайтесь, если грубовато скажу — пораньше заглянуть надо было. Флот — он, как живой человек, любит внимание, уважение. Отошел иной человек от флота — глянь, и тот отвернулся от него, закрыл свое сердце... Небось, смотрите сейчас на корабли, а они вам души своей не раскрывают? А для меня их броня будто стеклянная: до ки-

ля все вижу... Гоже ли офицеру столько лет родного флота избегать?

Я смолчал. Да и что я мог сказать в свое оправдание? Сваливать на военкомат? На командование? Или на бурность текущей жизни? Все это были лишь отговорки, я понимал их неубедительность и потому молчал.

Некоторое время, притворяясь, будто ждет поклевки, молчал и мичман. Тактично молчал. И так долго, словно обидел я его. Уже подумалось, а не уйти ли? И тут он заговорил:

— А я четырнадцатый год служу. Флот для меня — и дом, и семья. По гражданской специальности — тракторист. Попал на корабль, глянул на машины, и руки опустились: нешто освоишь такую махину?.. Ничего, осилил... А как только осилил, стал господином над ней — тоска пропала. Будто и родился где-то здесь, в корабельном трюме или еще где... А тоска — она врага страшнее, и зубы у нее, хоть и невидные, но острые, въедливые. Попади матрос под ее власть, не подмогни ему в ту минуту — запросто в нарушители укатится. Опять же, почему? Все ему опостылело в тот момент: и море, и корабль, и даже приказ. А разве можно в армии без приказа, по настроению матросскому жить? Да шагу ступить нельзя! Взять, к примеру, такой случай... Хотя, зачем вас примерами глушить? Сами, поди, не один знаете... Оседлал механизмы — пропала тоска, жизнь сначала замечать, а позднее — и любить начал. Даже на сверхсрочную остался. И знаете, что меня привлекало? Не деньги, не форма красивая, — мичман снял с крючка очередного красноперого окунька, сменил насадку и продолжал, глядя на поплавки, застывшие на отшлифованной воде: — Уж больно радостно охранять других людей. Стою я, скажем, на вахте, а душа так и поет: сунься кто — живо рога обломаем!

Есть такие люди, что говорят: «Вот уж и старость подходит, не заметил, как жизнь прошла». Начал я на эту старость! Не будет ее у меня! И опять же почему? — мичман гневно смотрел на меня, будто я произнес те слова о старости, будто я спорил с ним.— Сколько человек в люди вывел я за эти четырнадцать лет? Сколько сейчас моих учеников на кораблях служит? Почти на каждом есть мой человек. Не дадут они мне состариться!

Что, к примеру, меня сейчас здесь держит? Окуньки? Да нешто это рыба? Головастики! Надо будет хорошей — перейду вон туда, где гостиница, и угрей тягать буду!.. Что же меня держит якорем, да еще на этом месте? Видите вон тот тральщик? На нем Иван Лукашин служит. Тоже мой ученик,— в глазах мичмана зажглись теплые огоньки, и все лицо стало мягче, исчезли гневные складки на лбу.— Недавно учения были, так он наколбасил малость. Вот и придется с него стружку снимать.

Мичман опять нахмурился. Несколько минут мы сидели молча. Потом мичман достал папиросу, закурил и продолжал уже спокойно:

— Пять лет назад прибыл к нам на корабль Ваня Лукашин. Прямо скажу, комплекцией не обижен. Ростом без малого два метра, в плечах — половина того. Весь такой угловатый, вроде бы неповоротливый. И что меня больше всего злило — молчит окаянный! Ты ему объясняешь, показываешь — молчит. Спросишь — кивнет и опять же ни слова, если не на занятиях. Только на вечерней поверке, когда его фамилию назовут, ответит: «Есть». Почему ответит? Устав велит.

Не выдержал я как-то и говорю своему командиру: «Ну и трудного человека мне дали». Не знаю, как это случилось, но скоро все на корабле стали звать его так.

Только, бывало, и слышишь: «Трудный, тебя мичман кличет». Или еще что... А Иван не обижается. И, что интересно,— память у него зверская: раз покажешь — слова не скажет, а все запомнит!.. Скоро стал самостоятельно вахту нести. Хорошо, добросовестно нести, комар носа не подточит.

Прошло, может, месяца три — и вдруг новость: Трудный заговорил! А что сказал? «Сапожничать могу. Кому нужно — тащите чоботы».

Чуете, куда гнет? Частная инициатива! Кустарь-одиночка на корабле объявился!.. Уязвило это всех, и решили мы его проучить: натаскали обуви — на месяц работы. Натаскали, а сами мыслью тешимся: «Починишь, деньги сдерешь, а потом мы и дадим тебе жизни! Будешь знать, как своего брата матроса обирать!»

Мичман несколько минут смотрел на поплавки, потом улыбнулся и продолжал:

— Ведь все чоботы починил окаянный! И денег ни копейки не взял! Тут уж мы опешчили: выходит, зря над человеком измывались? Ведь кое-кто такие обутки принес, что и носить больше не собирался, а теперь в них хоть на параде вышагивай!

Окружили мы Ивана в кубрике, прижали вопросом: «Почему обувь чинил?» Он молчал сначала, потом выдавил, словно жернов свернул: «Сапожничать могу, что не каждому дано». Видали, какой говорун? А понимать это так надо: дело он знает, время свободное для товарищей тоже найдет, так почему не помочь?

После этого случая все мы другими глазами на Ивана смотреть стали, но кличка та к нему так и прилипла... А вскоре такое произошло... Замполит у нас тогда молодой; горячий был... Он проводил митинг по вопросу сдачи экзамена на классность. Почти все выступили и одно говорят: дело хорошее, нужное. Только Иван

молчит. Замполит и навалился на него: «Выскажитесь, товарищ Лукашин». Тот сначала отмалчивался, а потом возьми и брякни: «Я — не кочет». Что тут поднялось! — мичман зажмурил глаза и покачал головой.— И замполит, и мы — все, навалом, на Ивана. Это мы-то кочеты?— мичман смеется, смеется радостно.— Дней десять обходили Ивана, будто нет его на корабле. А он — ничего, спокоен, словно так и быть должно. Может, и дальше играли бы в молчанки, да собрание опять подошло. Выступил на нем один из наших и говорит, что есть еще трудные люди и у нас на корабле, что их воспитывать и воспитывать надо, чтобы хотя бы к дверям коммунистического общества подпустить. Фамилию не называет, а мы знаем, в чей огород камень брошен. Тут и подымается Иван, басит: «Кочеты у нас в деревне завсегда друг за другом одно и то же орут. А мы-то люди. Зачем перепевать? Шум один... Я с народом согласный». Сказал это, и сел. И тихо так в кубрике стало — сравнить не знаю с чем. Сижу и думаю: «Вот уел, так уел, черт таежный!»

Матросы молчали, молчали да как грохнут хохотом. Только Иван и не смеялся...

Теперь уж и вовсе стали звать его Трудным. Теперь, конечно, в том смысле, что не сразу его разгадаешь... А вскоре в комсомол стал вступать Трудный. Вылез из угла, встал посреди кубрика, голову на грудь валит, чтобы о бимсы не стукнуться. Ну, думаем, сейчас ты заговоришь: биографию-то за тебя кто рассказывать будет?.. Только и узнали, что жил где-то на севере Урала, охотником был... Приняли его, конечно. Уж больно он к тому времени полюбился.

Прошло еще несколько лет, пора Ивану демобилизоваться. Приказ уже соответствующий зачитан, народ чемоданы покупает, а Иван к командиру: «Прошу демоби-

лизовать в последнюю очередь». Тот спрашивает: «Почему? Замечаний у вас нет, домой можете одним из первых отправиться». «Не готов я к демобилизации», — отвечает Иван.

Бился, бился командир и рукой махнул: нешто эту глыбу прошибешь простым словом?

Осенние месяцы, сами знаете, хлопоты сплошные: учения разные, старички уходят, молодняк обучать надо да и зима не за горами. Короче говоря, забыли про Лукашина. Сам напомнил о себе. Опять приходит к командиру и докладывает: «Свои механизмы, товарищ командир, я перебрал и отремонтировал. Теперь года полтора их вскрывать не надо. Так и передайте сменщику, который заместо меня будет».

Каков, а? Молчком большущее дело провернул! Другие в это время о доме слюнки пускали, а он о корабле думал!

Командир, понимаете, пожимает его руку и так, с подходцем, крючок закидывает: «Спасибо, товарищ Лукашин, от лица службы спасибо. А не жаль вам расстаться с кораблем? Нам, например, жаль, что вы уходите». Иван, как рассказывал вестовой, кровью налился, достал из кармана бумагу, протянул ее командиру и сказал: «Если оставите, то тятя разрешил». Оказывается, этот детинушка домой бате письмо написал, в котором спрашивал, можно ли ему здесь, у нас, остаться!.. Оставили его, конечно, с радостью оставили...

В канале плещется рыба. На кораблях бьют склянки, и звук потревоженной меди плывет над сонной водой. Солнце уже легло нижним краем на воду и окончательно подпалило ее по кромке горизонта.

Все точно так, как было и в дни моей молодости. Время не коснулось, не состарило, не лишило силы то, что мне по-прежнему дорого...

Мичман курит молча, торопливо. А я смотрю на его лицо и думаю о том, что этот человек нашел свое место в жизни. Раз навсегда нашел. И не вырвать человека с этого места: крепкие у него корни и глубоко ушли.

Только не слишком ли он самоуверен? Придет ли к нему Лукашин?

Если судить по рассказу, тот человек гордый. Да и мичман теперь не его начальник.

— Ползет каракатица,— прошептал мичман и уселся поудобнее.

Я посмотрел в сторону тральщика. От него шел главный старшина. Большой и громоздкий, как когда-то наш Ксенофонтыч, он шел решительно, но на лице его не было радости. Я понял, что учителю и ученику лучше побеседовать наедине, попрощался с мичманом и ушел. Не к себе в номер гостиницы, а на улицы этого небольшого городка, где каждый второй — военный моряк. Шел аллеей каштанов, шел мимо влюбленных парочек, что шептались на скамеечках. Шептались доверчиво и нежно, как это умеет только счастливая молодость. Я завидовал их счастью: ведь мы в их годы уже воевали, в их годы мы уже познали близость смерти.

Что ж, каждому свое.

Хотя, почему каждому свое? Не только свое, но и наше счастье — настоящее, большое и несостоявшееся счастье многих павших — пусть вбирают они в себя без остатка. Ведь жизнь так прекрасна!

Это мы, те, кто воевал, очень хорошо прочувствовали.

Может быть, другими словами, но об этом я думал, проходя аллеей каштанов, торопясь и не желая покинуть владения влюбленных. И солнце не хотело покидать их. Оно все еще цеплялось за зыбкий горизонт и его лучи заливали золотом распахнутые окна, ласково перебирали густую листву каштанов.

СОДЕРЖАНИЕ

Первое знакомство	3
Дорога в бессмертие	10
Наш командир	16
Орднунг!	25
Один день блокады	67
Злыдень	83
Товарищ комиссар	115
Душа человека	137
Солдатская биография	144
Маяк победы	153
Улица — его имени	179
С днем рождения, минер!	207
Место в жизни	220

**Селянкин
Олег Константинович**

**КОГДА ТРУБА ЗОВЕТ
Сборник рассказов**

Художник Е. Н. Нестеров

**Редактор Н. Н. Вагнер
Художественный редактор М. В. Тарасова
Технический редактор В. Н. Филиппов
Корректоры В. Н. Чувашов, С. С. Нестерова**

Сдано в набор 22/IV 1969 г. Подписано в
печать 9/XII 1969 г. Формат бумаги
тип. № 2 70×108¹/₃₂. Печ. л. 7,25;
бум. л. 2,625; (усл.-прив. л. 10,15);
уч.-изд. л. 9,768. ЛБ02393. Тираж 15 000 экз.
Цена 38 коп.
Пермское книжное издательство. Пермь,
Карла Маркса, 30. Типография изд-
газ. «Звезда», Пермь, ул. Дружбы, 34.
Зак. 4843.

Дорогие товарищи!

**Ваши отзывы о книге
Олега Селянкина «Когда труба
зовет» шлите по адресу:
г. Пермь, ул. К. Маркса, 30,
Пермское книжное
издательство.**



P2
С. 29

Селянкин О. К. «Когда труба зовет»
Рассказы. Пермь. Кн. изд. 1970.
232 стр., 15 000 экз., 38 коп.

В книге объединены новые рассказы писателя, посвященные изображению подвигов советских солдат и командиров во время Великой Отечественной войны.

7—3—2